

Священник Георгий Кочетков: Из проповедей после вечерней молитвы. Слово под Покров Божьей Матери (13.10.98)

Проповедь

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!

Братья и сестры, христиане!

Наверное, нужно продолжить наше размышление о празднике Покрова, потому что он действительно парадоксален. Парадоксален хотя бы потому, что мы ведь все исповедуем строжайшее единобожие и хорошо знаем, что единым нашим Спасителем и Покровителем является Сам Бог, и только Бог. С другой стороны, мы празднуем Покров Божьей Матери. Люди, которые не приучены к парадоксальному мышлению, к антиномичному мышлению, связанному с христианским опытом жизни, иногда смущаются этим. Также как, допустим, возгласом «Пресвятая Богородица, спаси нас». Это смущает многих и многих людей, ведь у нас один Спаситель — Христос. Также как у нас один Учитель — Господь. И один Отец, Который на Небесах. Поэтому в Евангелии говорятся строгие слова: «Не называйте себе никого на земле отцами, наставниками и учителями». Точно также и спасение только от Бога во Христе по дару Святого Духа. И Покров тоже всегда — Божий!

Мы с вами говорим, что обращаясь к Божьей Матери и святым, мы обращаемся к Богу, и поэтому говорим оглашаемым с самых первых шагов: научитесь тому, что всякая молитва в Церкви есть молитва к Богу, и даже когда потом вы будете призывать в молитве Божью Матерь и святых, вы не должны об этом забывать, и это все равно должна быть, в конечном счете, молитва Богу. Но до этого им надо будет еще дорасти, до этого надо как бы еще дойти. Мы все знаем, что человек не сразу вмещает это в сердце. Бывает так, что человек уже и крестился, и причащается, а еще не может призывать в молитве ни святых, ни Божью Матерь. Мы знаем это, мы знаем все трудности этого пути, если воспринимать его неформально.

Да, дорогие братья и сестры, для нас все это очень и очень важно. Мы не можем потерять христоцентричности, теоцентричности нашей жизни, не можем. Как же с этим соотносится Церковь? И как с этим соотносится образ Божьей Матери?

Действительно, дорогие братья и сестры, для нас праздник Покрова Пресвятой Богородицы — это нередко, в первую очередь, празднование частного, хотя и важного исторического события, произошедшего когда-то, в IX веке, в Константинополе, где случилось тогда одно из многочисленных чудес Божьих. Но ведь их так много было в истории, их так много было в жизни всех католических церквей, и нашей католической церкви, и Константинопольской католической церкви. Были они и в жизни Римской католической церкви, и всех католических церквей, принадлежащих к единой Церкви Божьей.

Однако сегодня мы празднуем еще и нечто такое, что позволяет нам любовь к Богу распространить на всех и вся и посмотреть на ее действия многообразно, как бы с разных точек зрения. Посмотрите, вот Евангелие нам говорит о «Младенце и Матери Его» (см. Мф 2: 11,13,14,20,21). И мы с вами помним, что Божья Матерь была как бы драгоценной Раковиной,

прикрывавшей малое еще тело Христово, зачатое в Ее чреве, подобно тому, как драгоценную жемчужину покрывает раковина-жемчужница. Но то же самое мы теперь исповедуем в отношении Тела Христова — Церкви. Не только Самого Христа как бы скрывала в Себе, в потаенном Своем бытии Дева Мария, но и Тело Христово, понятое как Церковь, точно также окутывает Своей любовью, покрывает в тайниках любви Та же Дева Мария, Та же Божья Матерь.

Этот образ и положен в основу праздника Покрова. Как послужила воплощенному Божьему Слову Дева Мария в Рождестве Христовом, так же Она служит и Церкви, Сама будучи ее членом, Сама будучи в одном ряду членов Церкви. Она меньше Церкви, как ее часть, и Она же больше Церкви, ибо Она может закрыть Собою и от всякой беды уберечь Тело Христово. Помните, в символике Рождества именно так часто и осознается, когда говорится, что Божья Матерь становится Вместилищем Невместимого. Она одновременно и больше, и меньше Него — Своего Младенца. Так же как Она одновременно и больше, и меньше Церкви. И мы с вами призваны ощутить это, потому что к этому призваны все верные. Мы должны также пойти этим путем, и при этом должны не стесняться и не бояться, не страшиться нашей немощи, потому что мы призваны стать большими самого мира, поскольку мы вмещаем в себя Христа, причащаясь Ему на Небесах и на земле.

Вот, дорогие братья и сестры, самое главное, что мы должны вспомнить, празднуя этот праздник. Но, думаю, еще об одном стоит сегодня упомянуть. Вы хорошо знаете, что прошел год, ровно год с того дня, когда мы услышали указ нашего священноначалия, который фактически определял внешнюю судьбу нашего Братства, нашего прихода, нашего храма и всех нас, так или иначе имевших отношение к храму Успения в Печатниках. «Как же так, — можете вы спросить, указывая на еще один парадокс, — если Церковь покрывается Богом, если Покров Божьей Матери неотъемлем от нее, как же может случаться то, что случается теперь и что случилось год назад? Как же так, неужели не уберегла Божья Матерь свою Церковь, дозволив случиться страшному беззаконию, смертному греху, как кажется, внутри самой же этой Церкви? Неужели не уберегла Божья Матерь Тело Христово? Неужели оно как бы выпало из Ее рук?! И значит, из рук Божьих?! Оно как бы вдруг потерялось! Может ли такое быть?»

Конечно, конечно, дорогие братья и сестры, такого быть не может. И только внешний наш взгляд может привести к подобному смущению. Если мы понимаем Церковь Христову только в земных категориях торжества, великолепия и внешней позлащенности, без силы Духа, то мы будем смущаться. Мы будем смущаться, оглядываясь на все две тысячи лет церковной истории, потому что всякий из вас, кто знает церковную историю, помнит, что начиная с общины Самого Господа, начиная с Голгофы, можно было найти повод для смущения. Ведь как можно было предать Сына Божьего? Как можно было Его распять, обвинить в богохульстве, в страшных смертных грехах? Как можно было убить Бессмертного? Как можно было гнать Церковь Божью, убивать лучших ее святых? Как можно было гасить в ней Дух? Как можно было ругаться из-за материальных ценностей или из-за церковной собственности? Или, по гордыне той или иной кафедры, как можно было веками наблюдать самоутверждение христиан в этом мире, эту объективацию духа, когда все меньше и меньше в церкви имела значение личностная взаимосвязь членов Церкви? Ведь сейчас придешь в храм и чувствуешь, что неловко, неудобно в христианском обществе, в христианском храме сказать брату или сестре: «Здравствуй». Неловко улыбнуться, как будто ты этим делаешь какое-то преступление, как будто кого-то отрываешь от Бога. Но может ли любовь отвергать Бога или отрывать от Бога человека? Никогда!

Итак, если бы мы смотрели на церковную историю только по внешности, то мы должны были бы закопаться в песок, уйти подальше от всякой церкви, потому что в ней все чаще и чаще, все

наглей и бесовестней проявляют себя силы, которые не только не хотят жить по Любви, но которые даже не маскируются, даже не хотят делать вид, что они руководствуются Любовью! Им кажется, что чем они жестче, чем они страшнее для другого, тем они лучше выполняют свой долг в церкви, лучше служат Богу и Церкви.

Это парадокс, дорогие мои. Но мы должны знать, что и сейчас «сила Божья в немощи совершается», как это было во времена апостола Павла, впервые осознавшего, что значит «нести на себе язвы Господа Иисуса», что значит «восполнять недостаток скорбей Христовых за Тело Его, которое есть Церковь». Я вам цитирую те слова апостола, которые редко, очень редко вспоминаются и еще реже цитируются вслух. Они стали как бы неудобными в церкви, они стали неудобнопроизносимыми, и это страшно. Но апостол Павел в них раз и навсегда для всех открыл тайну жизни в Церкви, братства в Церкви, жизни в той Общине, в той духовной Семье, в которой только и может проявить себя кафоличность, всеобщность Церкви. А без этого качества Церковь быстро превращается в секту, даже если эта секта занимает огромное пространство и включает в себя миллионы.

Нам есть о чем вспомнить, нам есть о чем подумать, вспоминая то, что было год назад, и размышляя над тем, почему прошел целый год, и это уже так много, но ничего в церкви, как кажется, не исправлено. Нет, церковь жива, церковь реагирует, в церкви начинается какое-то бурление, какое-то проявление жизни, потому что это есть еще один «камень соблазна», такой же, которым был назван Сам наш Господь. Он был «камнем соблазна», вспомните Писание. То есть по отношению к Нему люди определялись: с Богом они или нет. И вот таких «камешков», оказывается, немало. И мы не по собственной воле стали одним из таких, пусть малых, но «камней». Не только в России, но и во многих странах сейчас происходит такая же ориентация: или человек поддерживает того, того и того, то, то и то, и этим доказывает свою верность Богу, или же нет. И тогда, что бы субъективно он ни хотел делать, он начинает Церковь Христову разрушать, ибо создает в ее жизни нежизнеспособную среду, даже если, повторяю, заблуждения человека вполне искренние и он не какой-то злонамеренный человек или злодей.

Господь захотел так провести Свою Церковь в наше время, в самом конце XX века, чтобы в ней было всего несколько ориентиров, держась которых можно было бы пройти через все трудности церковной жизни и удержаться на том узком пути, по которому пройти так трудно, но по которому идти надо, ибо так заповедал Господь. Всего несколько ориентиров! На них ориентируемся и мы с вами. Для нас имена некоторых святых XX века, мучеников и исповедников, некоторых богословов и мыслителей стали такими ориентирами.

Мы можем многого не знать и не понимать (увы, невежество наше действительно велико), но мы знаем эти вехи. Нам очень много говорят всего лишь какие-то пять-десять имен. Поэтому мы с вами держимся этого пути независимо от того, нравится это кому-то или нет, удобно нам идти по такому пути или совсем неудобно, приятно или неприятно, выгодно или невыгодно. Мы с вами держимся тех же ориентиров, и благодаря им для кого-то мы уже сами стали одним из таких ориентиров. Не сами по себе, подчеркиваю, чтобы никакой даже тени гордости в нас никогда не возникало, а благодаря святым Божьим, которых Господь воздвиг в Своей Церкви.

Мы хотим быть верными истинной Церкви Христовой, мы хотим быть верными любви Божьей и пути Любви. И поэтому при всех наших недостойностях, при том, что мы все так много согрешаем, Господь, видя это наше стремление, ведет нас путем Своим, и мы это знаем. Поэтому мы не боимся агрессии зла. Мы не боимся того, что у нас нет сейчас своего храма и своего евхаристического собрания, так что мы должны быть в гостях то в одном, то в другом, то в третьем храме, то в одном, то в другом, то в третьем городе, а то и в одной, в другой, в третьей стране. Это нормально. Сказано же в Писании, что «наше жительство на Небесах», что «мы — странники и пришельцы на земле», и «взыскуем града грядущего», и будущего храма.

Если мы все это учитываем, то Покров Божьей Матери для нас становится значительно более явным и более действенным. Он как бы перед нашими глазами, и мы видим, как Бог действует даже в нашей немощи. Мы это ощущаем каждый день, это проявляется не только во внешних чудесах и знамениях, но и во всем. Мы чувствуем, что Господь как бы содевает Свою ткань Церкви, в том числе используя и нас, как малые ниточки. Мы это чувствуем, потому что все время сходятся концы с концами: кончается что-то одно, и тут же начинается что-то другое. И от нас здесь ничего не зависит, мы ничего не планируем, мы не ведем социалистического хозяйства, мы просто живем, и эта жизнь показывает нам, где путь Господень, а где тупик, соблазн, грех, ошибка, от которых надо избавляться.

Покров Божьей Матери для нас — самая настоящая реальность. Не случайно новый этап нашей жизни, жизни нашего Братства начался на Покров. И переехали мы с вами на Покровку (смех), около Покровских ворот, собираясь вот здесь, в таком простом месте, и действительно тихом, спокойном, прикровенном и покровенном. И мы ощущаем, что на Покров с нами всегда происходит что-то важное. Как раньше мы очень чувствовали свою невольную связь со Сретенкой и Сретеньем, не буду говорить про Лубянку (смех), так теперь мы чувствуем эту связь с Покровкой. И наше Сретенское братство естественным образом обретает новые черты на Покровке.

И в этом большая радость, и в этом повод для нашего благодарения Бога, потому что вдруг становится ясным, что никакие исторические чудеса и события не являются духовным центром праздника Покрова Божьей Матери. Этим духовным центром является некий смысл нашей жизни: вот сейчас Господу угодно покрыть нас Своим омофором, ибо мы не чувствуем над собой другого омофора. Мы бы и рады его чувствовать, но вот, не чувствуем. Но Господь никого не оставляет без Своего омофора, и поэтому, когда отошла от нас благодать человеческих омофоров, Господь нам дал как бы другой омофор и как бы другого епископа — Божью Матерь. Наш канонический епископ пока не проявляет никакого интереса к нам, как и вообще не проявляет своего епископства в церкви, но мы надеемся, что дело исправится. Пока же есть то, что есть, и чтобы нам не остаться вне Церкви, Господь Сам через Божью Матерь покрывает нас Своим омофором. И это делает нас куда ближе друг к другу, это делает нас опять тем Телом Христовым, которое укрывается от всякого зла драгоценной Жемчужицей, драгоценной Раковиной, облакающей драгоценное Тело Христово.

Мы рады тому, что мы приобщены к этому Телу, мы благодарим Бога за то, что Божья Матерь покрывает нас Своим омофором — символом епископской власти. Поэтому пусть никто из нас никогда не усомнится в милости Божьей и в нашей приобщенности ко Христу и к Его Церкви, а значит, и ко всем святым и Божьей Матери, Которую мы можем с такой ревностью и с такой радостью благодарить именно сегодня.

Аминь.

1 См. «Русская мысль» № 4240, 8-14.10.98 г., с. 20.

2 Попечение (греч.)

Священник Георгий Кочетков: Из проповедей после вечерней молитвы.

Слово под Крестовоздвижение (после окончания конференции «Язык Церкви» (26.09.98))

Проповедь

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!

Братья и сестры, христиане!

Действительно, Господь дает нам познать Свою милость необыкновенно, не так, как это нам можно было бы себе представить еще так недавно, всего год назад. Вот прошел наш Преображенский собор из двух частей: паломничество нашего Братства, потом встреча на Преображение, а сейчас прошла и конференция «Язык Церкви», которая, на мой взгляд, была, прежде всего событием духовным. И к чести всей нашей церкви надо сказать, что она, сверх всех наших ожиданий, откликнулась на это событие. Сверх всех наших ожиданий откликнулась именно церковь! Помните, в последний день работы конференции я объявлял, какое огромное количество организаций, какое количество священнослужителей из скольких мест и стран оказались участниками этой конференции, проходившей всего-то три дня и без какой-либо рекламы. Что сейчас, простите, делается без рекламы? А мы без какой-либо рекламы смогли встретиться с очень многими людьми, которые сумели преодолеть свой страх, которые поняли, что нужно преодолеть все препятствия на своем пути, чтобы встретиться, чтобы понять друг друга, чтобы отбросить всякие предрассудки по отношению друг к другу.

Все это стало для всех нас каким-то удивительным чудом. И я рад, что мы завершаем этот период нашей жизни, нашей истории, еще один год нашего «исхода» праздником Воздвижения Креста.

И тут я хотел бы вам напомнить только одну вещь. Никогда не бойтесь Креста! Ведь мы хоть и носим на себе крестик, но не случайно хотим иметь его или золотой, или серебряный, или так или иначе украшенный, чтобы он был все более и более декоративным. Почему? А потому, что нам часто страшен крест. Если бы он состоял из сухих веточек, подобно кресту св. Нины Грузинской, то нам, наверное, неужто было бы носить этот крест. Если бы он был просто каменным, то нам, наверное, тоже было бы трудно нести его, как жернов на своей шее. Когда это декорация, когда это прекрасный символ — мы его с радостью принимаем, мол, еще одна красивая вещь в церкви. А вот когда он нам напоминает о подлинных страданиях, даже во сне, тогда мы начинаем бояться, мы начинаем как бы уходить от этого креста в страхе и трепете, и отнюдь не в благоговейном трепете.

Такое отношение к кресту сложилось не случайно. Потому что крестоношение напоминает нам о словах древних христиан, что мы все должны быть и христоносцами, и богоносцами. Нести на себе крест — значит стать христоносцем. Не просто крестоносцем, что ассоциируется с известными историческими событиями, которые далеко не всегда были крестоношением христиан. Ведь это часто было возложением тяжелого бремени креста на других, иногда даже с проявлением не только смелости и храбрости, искусности в бою, но и жестокости, жадности, любоначалия и властолюбия.

Для нас крестоношение — это способность понести на себе подвиг Христов, страдания Христовы, страдания не шуточные. А взять на себя этот подвиг — значит понести дар Божий.

Кто думает, что становясь христианином, он с легкостью понесет свой крест, тот ошибается. Кто ищет легкого креста, тот не найдет ничего и потеряет и то, что имеет. Кто думает: «Я пришел к Богу, значит мои проблемы Бог должен разрешить за меня и вместо меня», — тот очень ошибается, тот не хочет быть учеником Христовым.

Вот, дорогие братья и сестры, нам об этом надо помнить, нам об этом надо знать. Нам надо знать о том (напомню вам, хотя мы не однажды говорили об этом в храме), что такое наш крест — тот крест, который нам нужно нести во исполнение слов Христовых: «Кто хочет быть Моим учеником — возьми свой крест и иди за Мной». Этот крест есть символ, символ трагической судьбы Любви в этом мире, в мире сем, в мире падшем, в мире, ополчившемся против Бога. Я напоминаю вам эту формулу, чтобы вы все ее хорошенько запомнили и никогда ее не предали, никогда ее не подменили ничем иным: Крест есть напоминание нам, и в этом смысле символ, трагической судьбы Любви, Божьей Любви в мире сем, в мире падшем, лежащем во Зле.

Если мы перестанем связывать крестоношение, наш крест, с судьбой Любви, то мы потеряем самое главное в христианстве — мы потеряем тайну Креста, мы перестанем быть крестоносцами, христоносцами и богоносцами, и это самое страшное, что с нами может быть. Посмотрите, как во всем мире церковь приспособилась к условиям жизни в нем, вы посмотрите, как чаще всего выносятся церковные решения — исходя из соображений церковной политики, а не по зову любви, любящего сердца, ибо это требует жертв, это требует умения идти на риск, на жертвы, на потери, на риск собой, но не чем-то или кем-то иным. Ибо мы не имеем права рисковать другими, но имеем право рисковать собой.

Давайте еще раз вспомним только что прошедшую конференцию. Как удивительна была та полифония, в которой раскрывался подлинный голос Церкви! За эти три дня мы как будто действительно услышали голос Церкви во всем богатстве многообразных, даже противоречивых подходов. Это было потрясающе, удивительно, это было почти Богоявлением, потому что здесь вдруг проявились такие нюансы жизни Церкви, которые иначе невозможно ни увидеть, ни услышать, ни узнать. И мы поняли, что как бы ни хороши были соображения церковной политики, даже лучшей, не преступной, не двурушнической, не коллаборационистской, не фундаменталистской, ни какой иной такого рода, как бы ни были хороши эти соображения, они никогда не могут быть последним словом в Церкви. Их надо учитывать, это правда — ведь мы живем в мире сем и поэтому не можем их не учитывать, но мы никогда не должны исходить только из соображений церковной политики, как бы это ни сулило спокойствие, решение наших проблем и даже выгоды. Поэтому мы с вами решились идти иным путем — путем Любви.

Посмотрите, вот наш дорогой о. Мартирий, который сейчас страдает от того, что почувствовал на себе тяжелую пядь безлюбного отношения к человеку в церкви, он об этом громко сказал: «Те, кто живет в церкви по законам мира сего, а не по законам Любви, отлучают себя от Христа, а значит отлучают себя и от Церкви, кем бы они не были»¹. Я не знаю, слышали ли вы это его интервью, передавалось оно или нет. Мне приходилось слышать его в записи, может быть, сегодня оно будет по радио. Это были удивительные слова человека, действительно пронизанного любовью, удивительные слова человека, который не захотел предать этой любви, который не просто восстал против несправедливости и жестокости в свой адрес и в адрес своего прихода, своих прихожан, но который простыми словами обличил главную болезнь церковной жизни — вот эту безлюбность, когда считается, что и не надо идти по пути Любви, потому что это нереально, это невозможно — тебя тут же уничтожат, съедят, разорвут на части.

Как часто мы с вами, дорогие братья и сестры, бываем готовы пойти на компромисс, как часто мы бываем готовы уйти с этого пути Любви — сначала на довольно благородные соображения церковной политики, а потом дальше, дальше, дальше. Сначала человек хочет быть просто как

все, а потом эти все, на которых он ориентируется, становятся все хуже, хуже, все более похожи на людей мира сего. Как часто и мы с вами, начав с благородных движений сердца по созданию и возрождению общинной жизни, не выдерживаем и отворачиваемся от них, и тем самым оказываемся недостойны того креста, который с такой любовью подарил нам Бог.

Судьба Любви в этом мире трагична, мы это знаем. Мы знаем, что и в общине может быть Иуда, и так было со времен Христа. Мы знаем, что предают только свои, и именно они ведут на Голгофу, хотя не только они, но и всякий, кто не идет за Христом, кто не берет свой крест, тот уже не способен воспринять Голгофу на стороне Христа. Он воспринимает и видит Голгофу, но иными очами, чаще всего уже очами Христовых палачей или равнодушного, любопытствующего, законничающего народа.

Какое удивительное чудо, дорогие братья и сестры, в том, что этот период нашей с вами братской жизни завершается Крестовоздвижением! Сегодня была суббота перед Воздвижением. Может быть, вы знаете, что сегодня же было отпевание Кати Савельевой, дочери о. Сергия. Еще за день, даже буквально в день ее кончины, за час, за два до нее, мы говорили о ней. Не случайно о. Иоанн, столь блестяще завершивший своим докладом нашу конференцию, обмолвился, что еще жива дочь о. Сергия Катя. Да, все было буквально так: она была еще жива, но в тот же вечер умерла «в старости доброй». Она была как символ, символ братской, той самой «родной жизни», о которой нам так хорошо сказал о. Иоанн, и о которой все вы могли уже прочитать в книжке «Далекий путь» и в наших последних журналах, где мы все больше и больше печатаем материалы, связанные с о. Сергием, как и сами его слова, дерзновенные, живые, святые слова.

Сегодня отпевали Катю Савельеву, и для нас это тоже некий символ. Община о. Сергия жива. Как она зародилась в середине 20-х годов, так она и продолжает жить и включать в себя новых и новых членов. Кто-то уходит, кто-то умирает, а кто-то приходит — и в этом связь времен, в этом — цепь святого совершенства. Если кто-нибудь из вас когда-нибудь усомнится в святости общинного пути, родной жизни, жизни Христовой в Церкви, прочтите слова о. Сергия, откройте наш журнал или откройте его книгу. Также мы с вами имеем возможность прочитать об этом слова, исходившие из уст и другого святого мученика и исповедника нашей церкви — о. Сергия Мечева, который наследует все лучшее, все доброе, что дало России старческое движение второй половины XIX и начала XX века, потому что его отец — о. Алексей Мечев — был последним настоящим великим старцем той эпохи. Наследуя это старческое движение, он пришел к общине, и он создавал общину. И если в наших краях мы можем найти подлинную преемственность и связь времен в церковном предании, в живом предании, то это всегда будут или наследники мечевских общин, или община о. Сергия. Всех остальных разметало по миру, кого-то лишив при этом жизни, а чью-то жизнь изломав.

Мы с вами об этом не должны забывать, мы должны это очень хорошо знать. Как хорошо, что одна из членов общины о. Сергия была в последний день на нашей конференции. Она постеснялась встать тогда, когда мы говорили о них, но знаете, если бы я даже ее прежде не знал, а просто увидел как одну из многих, я бы сразу выделил это лицо. Поистине это — плод, плод жизни, плод огромной эпохи, плод века. Лицо человека, такое лицо — то, в чем никому никогда нельзя солгать. Здесь нельзя ничего придумать. И это свидетельство — лучшее доказательство подлинности того пути, по которому и мы должны идти, несмотря на все наши трудности, недостатки, грехи и немощи, несмотря ни на что.

Мы должны победить все, чтобы не потерять той же связи времен. Господь не случайно, наверное, дал нам возродить эту великую христианскую традицию общинной жизни, как будто бы совсем независимо ни от кого, только по воле Божьей, открытой нам, грешным. Но тут оказалось, что то, что мы начинали, — другие уже давно имели. Только все это было вдали от

шума мира сего, от его суеты. Пусть же сейчас, когда в это историческое время мы с вами переживаем откровение нового в церкви, наше сердце всегда помнит, что это новое — воистину новое, потому что оно у Бога, Который «творит все новое» — есть хорошо забытое старое, лишь по-новому открывшееся в нашем новом времени.

Давайте же не терять ничего из того, что Бог нам дал. Давайте не потеряем ничего и, главное, не потеряем никого. Обращаясь к свободе человека, давайте отринем всякий страх, отринем всякие сомнения, давайте возьмем на себя свой крест, чтобы нам никогда не пожелать быть просто «как все», чтобы никогда при этом не утверждать лишь свою партикулярную правду. Давайте благодарить Бога за Его Крест, который открывается нам своим светом и радостью крестных страданий даже тогда, когда кажется, что уже нет никаких сил бороться против зла, тем более выступающего как будто бы изнутри церкви. Не может быть зла в Церкви Христовой, хотя в канонических границах церкви, видимых, юридических, юрисдикционных ее границах, увы, увы, зло бывает, и нередко.

Пусть же сила Божья, совершающаяся в немощи, не оставит нас, грешных! Пусть же сила Креста Христова оградит нас от всякого зла! Не будем бояться Креста! Не будем смотреть на него только как на декоративное украшение или как на золотой символ нашей Церкви, но будем стремиться нести тот Крест, который Бог всем нам вместе дал!

Аминь.

Архимандрит Сергей (Савельев): «Мы пришли под Покров Божьей Матери» (4.01.67)

Проповедь

Прежде всего позвольте мне поздравить вас с Новым годом!

Дорогие мои, я хочу также поблагодарить вас за то терпение, которое вы проявили, слушая мои проповеди в последнее время. Я знал, что вам кое-что трудно будет воспринять, но тем не менее, побуждаемый любовью ко Святой Церкви и к вам, я должен был идти вперед, и мне казалось, что в прошлый раз мы как будто подвели итог и этой темы можно уже не касаться, но когда я остался один, то совсем по-другому все увидел.

Я почувствовал, что тема, которую я перед вами раскрывал, — бесконечна. Пока мы живы, она должна непрестанно раскрываться перед нами, ибо она вытекает из существа самой Церкви и из существа нашей жизни. Я понял также, что возложил на вас бремя очень тяжелое. Слова были простые, но когда я хотел ощутить на себе эти слова, то почувствовал, что слова-то очень и очень трудные. Я имею в виду те слова, которые мы должны говорить друг другу и должны говорить всем людям: «Ваши радости — наши радости».

Печалиться с печелящимися — просто, а радоваться с радующимися — искусство великое. И когда я «представил», как вы останетесь одни и попытаетесь это осуществить в жизни, то мне стало очень жаль вас, отечески жаль, т. е. жаль тех, кто действительно захотел бы осуществить эти слова в своей жизни. Я почувствовал, что эти слова подобны тяжеловесной штанге, которую пытается поднять человек, не обученный этому, и вот такую я вам штангу поставил, которую как бы поднять невозможно. Но штанга для спортсменов — материальна, ее

поднимает тот, кто сильнее, и поднимает тогда, когда он в расцвете сил. Когда же он начинает ослабевать, то к штанге не подходит, ибо она для него неподъемна.

А наша штанга, духовная штанга, она совсем другая. От нас силы физической не требуют, но нужна духовная сила, а сила духовная познается в немощи. Как апостол Павел говорит: «Сила Божия в немощи совершается», — и чем как бы немощнее человек, чем больше жаждет Духа Святого, тем он сильнее и тем больше он может поднять.

Вот мне и жаль вас: сказать-то я вам об этом сказал, а не сказал того, что вы встретите на своем пути, что вас может смутить...

На днях я получил одно письмо, в котором мне пишут: «Отец Сергей, только в последнюю вашу проповедь я поняла то, что не могла понять за все это время. Я все понимала, но как понять, что «ваши радости — наши радости», — этого я понять не могла, и только последняя Ваша проповедь раскрыла мне глаза и уши духовные, чтобы это понять».

А я, грешник, даже как-то немножко усомнился в этом. Мне кажется, она и в последний раз не совсем поняла, а если и поняла, то только разумом, а не сердцем, но это нужно сердцем понять, это сердцем нужно принять в свое естество — там, в глубине своей души — и тогда будет все просто и ясно.

И вот я думаю, что все мы в таком состоянии находимся, что все мы что-то чуть-чуть поняли, а чтобы это понятное осуществить в жизни — это нам очень и очень трудно.

И я решил за вами, вместе с вами последовать по этому пути и представить себе — какие же трудности находятся перед нами. Эти трудности внутренние и трудности внешние.

Трудности внутренние происходят от нашего маловерия. Наша вера слабая, она исчезает, а между тем все Евангелие, вся проповедь Христа основана на вере. «По вере нашей будет вам», «Вера твоя спасе тя», — через все Евангелие, повторяю, проходит эта вера. «Если веру имеешь, спасен будешь», — мы же маловерные, мы унылые, мы как-то склонны безнадежно смотреть на жизнь. Впереди все у нас как-то мрачно и мы склонны всегда видеть темное.

Люди — плохие, семьи — разваленные, молодежь — никуда не годится, честных людей — нет. Вот и собираем эту нечистоту в свое сердце, и что удивительно, не только собираем, но, как я замечал, как-то даже радуемся, какая-то скверная такая радость: чем больше мы этой гадости в себя примем, тем как будто бы нам как-то приятней. Если сказать такому человеку: «Посмотри, какая молодежь, ты подумай, ты пойди в читальный зал, посмотри, кто его заполняет, ты посмотри, как люди захвачены учением», — он отвернется и скажет: «Нет, пойдем лучше со мной, пройдемся по задним дворам». — «Слушай — честные люди есть на свете, и много честных людей». — «Да где ты увидел их, какие честные люди? — Все жулики, все мошенники».

Вот недавно служил у нас священник из другого храма — от Пимена, он служил всенощную и Литургию, поскольку у нас некому было служить. И вот когда после службы староста хотела заплатить ему небольшую сумму денег, он говорит: «Что вы, нет. Я — нет, нет, я не возьму».

Подумай, он приехал. Когда ему сказали: надо послужить в храме, в Медведковке, он сказал: «С радостью к вам приеду», а когда ему хотели дать маленькую сумму денег за его труды, он отказался: «Нет, я не возьму». А расскажи об этом — не всем, конечно, но многим нашим батюшкам, — они махнут рукой и скажут: «Отец Сергей выдумал». Скажи людям: «Да, люди хорошие!» — глаза как-то слезятся и начинают плохо видеть, как у старух и стариков

девятистолетних.

Так вот, дорогие мои, это — внутреннее наше препятствие к познанию этих чудных слов. Оно исходит от нашего маловерия, от того, что мы мало любим Господа, что мало стараемся помнить Его святые заповеди и исполнять их. Но есть и препятствия внешние. Ну, как сказать: «Ваши радости — наши радости»? Скажут: вот вы нас обманываете, — и сейчас же мы как-то падаем духом. Нам не верят, с подозрением к нам относятся, — и мы уже теряем силу идти вперед. Нам скажут: что же вы, наконец, пришли в такой поздний час? Сколько лет вы стояли где-то там, а сейчас вдруг пришли к нам с добрыми словами, с добрыми намерениями. — Поздно! А мы скажем: да, да, мы в единодесятый час, в последний час пришли, но мы все-таки пришли и от вас ничего не просим. Мы пришли к вам не на переднее место, мы не можем быть на переднем месте, ибо нас лохмотья прикрывают, грязная, темная от грехов одежда, мы сзади будем, мы будем вам помогать, мы пришли, любовью подвигаемые. Для чего? Для того, чтобы быть около вас, с вами, и мы верим, что Господь убелит наши одежды, просветит наши сердца, и тогда через нас вам будет радостно — не нашей радостью, у нас радости нет, — а радостью от Господа, которая через нас и будет вам, и вас будет согревать.

Дорогие мои, может случиться, что и разные другие препятствия как-то затуманят наши очи, — печальные воспоминания, например: некоторые потеряли близких, когда было время такое темное, другие еще какие-то претерпели беды и вот они бывают подавлены этими воспоминаниями. Это тоже мешает, но все это надо бросить. Это не значит, что мы не видим плохого, это не значит, что от нас скрыты недостатки. Нет, дорогие мои, мы видим, и даже больше видим, чем другие. Я говорю о тех, кто больше любит. Кто больше любит, тот больше видит, кто больше любит, тот больше страдает за любимого. Но любовь — она теплая, она добрая. Ведь о недостатках, о всех наших неурядицах можно говорить и по-другому. Да, можно говорить зло, но как наша радость совсем другая, так и наши печали совсем другие: это печали матери о своем ребенке. И вот, если мы будем так вместе с ними идти узким путем, жить одной семьей, одной жизнью, и постоянно сознавать свое недостойство, то, дорогие мои, источник животворной любви в нас откроется богато.

Вот я и смотрю, и вспоминаю первые мои слова, первые мои проповеди. Они были до некоторой степени ошеломляющие, потому что казалось — выхода нет, все ужасно, безнадежно. И я не щадил ни себя, ни вас, я все как будто бы сносил на пути, и все мы шли вперед. Трудно, тяжело — шли вперед. И что же мы видим? Мы видим, что пришли ко Христу. Все как бы отменяя от себя, мы пришли под Покров Божией Матери и в нас вселяется великая тишина, подобно тому, как была тишина на море. Об этом замечательно повествует евангелист Марк.

Я вам прочту несколько строк. Я вам мог бы сказать их и так, но мне хочется вам прочесть их получше: «Вечером Иисус сказал Своим ученикам: переправимся на ту сторону... И поднялась великая буря; волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А Он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят Ему: Учитель! неужели Тебе нужды нет, что мы погибаем? И, встав, Он запретил ветру и сказал морю: умолкни, перестань. И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: что вы так боязливы? как у вас нет веры? И убоялись страхом великим и говорили между собою: кто же Сей, что и ветер и море повинуются Ему?» (Мк 4: 35, 37-41).

Вот и мы сейчас в таком положении. Мы все принимаем, все на себя принимаем — всякую хулу, всякую обиду, все, но и проникаемся Христовым сознанием такой немощи человеческой и сочувствием людям. И когда мы это делаем, в душе нашей водворяется необыкновенная тишина, и мы идем узким путем. И на этом узком пути мы встречаем постоянно такие весточки от Господа, которые наполняют нас радостью, дают нам силы, и мы идем и идем вперед.

Вот если когда-нибудь вы ездите на розвальнях зимою по дорогам, на которых нет ничего, даже столбов телеграфных, особенно поздно вечером, когда уже ветер и вьюга. Едешь, и вот — вежа соломенная. Ничего не видно, только едешь от вежи к веже и думаешь: если сейчас не будет их, тогда вьюга нас занесет и мы замерзнем. Но потом видишь: опять вежа, и опять, и мы продвигаемся вперед и так, мало-помалу, приезжаем в родной дом. Вот так и мы живем. Вот эти вежи — весточки — Господь нам посылает. И когда мы изнемогаем, и когда нам бывает очень трудно, тут-то сила Божия особенно ясно в нас совершается.

Будем же идти, дорогие мои, вот этим узким путем. Тот путь, широкий путь, который прельщает нас, он пагубный, а вот узкий путь, в сознании своих немощей, этот путь — Христов, и на этом пути нас ждет великая радость.

Дорогие мои, я поражаюсь, как Церковь Святая, Христова, непрестанно влечет наши сердца к себе. Ведь что мы только ни делали, чтобы ее осквернить, что мы только ни делали, чтобы говорить худое, — и все-таки сердце наше тянется к ней, а она, как мать, принимает нас в свои объятия. Мы еще никак не поймем этого, мы как слепые тянемся не туда, куда нужно, как ребенок на груди у матери: ищет грудь, и не находит — и плачет, и ножонками трясет и ручонками. Вот подобно этому и нам в церкви нужен животворный источник благодати Христовой.

Мы его ищем как слепые, и не находим, и капризничаем, и Бог знает, что делаем, и забываем при этом о том, что мы на объятиях у матери своей, на объятиях у Матери-Церкви. Дорогие мои, если мы это почувствуем, — теплоту церковную, — то найдем животворный источник, который питал, питает и будет питать род человеческий.

Много мне еще хотелось сказать вам, но дорогие мои, я всегда с вами — и когда вижу вас, и когда не вижу вас, я тоже беседую с вами, вы всегда в моем сердце. И я, и вы — едино.

А сказано — где два или три воедино, там Я посреди них. И вот когда я без вас думаю о вас, сердцем своим сострадаю вам и знаю, что многие из вас и меня не забывают, я ощущаю благодать Христову, которая соединяет нас и не только нас — всех любящих Господа.

Да хранит вас Господь!

Архимандрит Сергей (Савельев): «Если я останусь верен любви»

Проповедь

Прежде всего надо смыть лично со своей совести все грехи. Не может совесть Родины очищаться, если не очищается совесть сынов ее, и прежде всего, собственная совесть каждого из нас.

Вот и путь. Кто не познал его, тому он покажется невыносимо узким. А кто приобщился к нему, тот в узости обретет для себя светлый простор, и такой простор, который может стать необъятно широким, если только каждый из сынов Родины не устрашится этой узости и не обленится в искании Истины. Кто обрел этот путь, тот на месте стоять не может, он всегда будет в движении. Все темное он будет видеть, и даже так ясно видеть, как не способен видеть никто другой, но воспринимаемое им только с еще большей силой разбудит в нем вдохновение побеждать любовью это темное ради Истины.

Я люблю Россию. Ее любили и любят все, но любовь свою все выявляли по-разному, некоторые очень возвышенно, а другие почти полностью теряли свою любовь к ней. О последних не будем думать, а подумаем лучше о тех, кто вдохновенно прославлял имя России.

В их прославлении звучат замечательные слова, и они раскрывают перед нами почти священные образы. Для таких, как Блок, она является даже в образе возлюбленной. Все это прекрасно, но в их прославлении имени России не слышится голоса, который бы раскрывал имя каждого из них: воспевая Русь, они в этом воспевании сами расплывались. И если для них Русь так дорога, как возлюбленная, то невольно возникает неминуемый вопрос: «Возлюбленная-то она, возлюбленная, а ты сам-то кто для нее?» Если она возлюбленная, то ты должен быть возлюбленным ее. Нельзя же воспеть жениху свою невесту, забыв о том, что он, как жених, обязательно должен быть под стать своей невесте. Если бы все, воспевающие Русь, не забывали о себе, о своем достоинстве, а лучше сказать, не ощущали свою нищету, которая особенно очевидна рядом с возвышенным образом Руси, то не дожили бы они до того дня, когда священная Русь сказала им: «Не знаю вас».

Когда в церкви за богослужением воспевают Пречистую Деву Марию, то Ее воспевают разные люди. Одни из них воспевают с трепетом душевным, сознавая, что для воспевания Пречистой уста их непригодны, так как запачканы нечистотой. И это сознание очень дорого, так как оно делает их воспевание Божией Матери таким, в котором почти не слышится красования своим голосом и горделивого превозношения себя. Но на клиросе часто бывают такие певцы, для которых нет разницы в том, чтобы воспеть Деву Марию или паясничать в каком-нибудь кабаке...

Я люблю Святую Церковь. Я — сын ее. Много горького я принес ей, но это горькое только еще больше раскрывает во мне любовь к ней. Образ Святой Церкви, образ Невесты Христовой совершенен по своей красоте и животворная сила его неизмерима, но мы, христиане, своею жизнью осквернили этот образ. Мы страшно обнищали, и было бы прекрасно, если бы мы признавали эту свою нищету. Но горе нам, что, обнищавши, мы считаем себя богатыми, и чем больше раскрывается наша нищета, тем больше мы возносимся на ложную высоту. Здесь все то же самое ослепление, которое проявляется во всей нашей жизни, и прежде всего, ослепление мое личное.

Но и любовь тоже моя. Она оживотворяет меня, она воздвигает меня к жизни, и я верен ей. Во всем темном, мрачном и неправедном я вижу прежде всего самого себя и твердо знаю, что все это темное и мрачное рассеется, если я останусь верен любви.

Вот эта верность и является светочем моей жизни. Я знаю, что идти вперед можно только в том случае, если этот светоч озаряет мой жизненный путь. Когда этот светоч угасает, тогда надо останавливаться и думать только о том, чтобы не прельститься тьмою и не утонуть в ней.

Когда этот светоч угасает в сердце, человек должен остановиться, хотя тьма в этот момент обволакивает его, стремится прельстить его и поглотить в своей бездне. Это очень опасный момент. Прельщение тьмы бывает бесконечно многообразным. Часто оно принимает форму очень для человека заманчивую, так что обольщение трудно опознать, оно использует самую ничтожную возможность проникнуть в душу человека и овладеть ею. Противостоять этому коварному обольщению может только тот, кто познал теплоту Святой Любви и пригрелся к Ней. Обольстительная тьма и светоч Любви несовместимы: тьма обретает силу в меру угасания Любви. Если человек не осознал в своей жизни, что угасание этого светоча лишает его смысла жизни, то он делается беззащитным перед тьмой, обволакивающей его. Он делается рабом ее, и в этом случае только потрясения жизни могут заставить его очнуться от греховного сна. Но очень часто потрясения в жизни человека, наоборот, еще больше лишают его познания

истинного пути жизни, ведущего к утверждению в Истине, и тогда обольстительная тьма греховная поражает не только душу, но и кости человека.

Так как люди слишком легко прельщаются соблазнами, приятными на вид, но ядовитыми в основе своей, то мы, все человеческое общество, находимся в глубоком затмении, которое очень часто лишает нас возможности понимать друг друга, хотя мы говорим на одном языке и употребляем одни и те же слова.

Что же делать? Как же жить, чтобы противостоять врагу? Для этого следует внимательно следить за своим сердцем и упражняться в том, чтобы светоч любви не угасал. Чем раньше человек будет в этом упражняться, тем глубже он преуспеет в этом. В детские годы сердце человека особенно легко воспринимает благодатную радость, которая предохраняет его от касательства греховной тьмы. Но с годами чистота сердца нашего тускнеет, и происходит это потому, что тьма греховная уже изыскала пути, хотя бы и ничтожно малые, которые дали ей возможность внедриться в наше сердце. А дальше с нами происходит то, что мы или начинаем относиться к затмению нашего сердца беззаботно, или же это затмение вызывает в нас тревогу.

В первом случае мы ворота нашего сердца не стремимся прикрыть, и мутная волна темных, обольстительных страстей входит в них свободно, но очень коварно, чтобы не потревожить наше безмятежное настроение. Здесь враг действует с поражающей хитростью. Острие греховной смерти, ради которой он существует, всегда прикрывается так, чтобы оно было скрыто под очень заманчивым видом. Этот заманчивый вид бывает необыкновенно изощренным, когда нужно овладеть человеком высокого духовного сознания. Но когда этот человек ослепляется, то заманчивость врага уменьшается, а потом, когда человек окончательно поработен, и совсем отбрасывается.

Как же жить бедному человеку, когда сети греховные раскинуты вокруг него? Прежде всего, ему надо остановиться. Но это возможно только для такого человека, который оберегал в своей жизни чистоту детского сердца и был верен ей. Такой человек хорошо знает, что чистота сердца является сосудом благодати Божией, которая излучает тепло не только для него, но и для всех людей через его сердце, а когда тьма подступает к нему и он теряет бодрствование, то тепло исчезает у него из сердца, а холод тьмы, порабащающей его, все больше и больше проникает в него, и будет проникать до тех пор, пока сердце его не окажется закованным льдом. И что удивительно, как замерзающий человек видит даже приятные сновидения, так и человек, у которого льдина подавила сердце, часто испытывает весьма высокие переживания. Ему мерещится, что он благороднейший человек, что цели его жизни безупречны, что он создан для того, чтобы жить в таком самосознании. У него нет никаких сомнений, что он очень умно живет, а те, кто кругом него — второстепенные люди. Он упивается своими личными чувствами, а то, что рядом стоят люди и робко смотрят вокруг, он не видит, да и не хочет видеть. Так он и живет. Но лед, сковавший сердце, укрывший его от действительности жизни других людей и затмивший его собственную совесть, бывает крепким только до тех пор, пока в его собственной жизни надменные переживания остаются непоколебимыми. Но это бывает очень короткое время. Во льду жизни нет. И как только жизнь человека под влиянием всевозможных трудностей, невзгод, болезней и надвигающейся смерти рассеивается, то для человека, ослепленного своею личной жизнью, лед исчезает. Это может произойти сразу или постепенно, это несущественно, а существенно то, что льдина, исчезая, открывает душу человека совсем не подготовленную к тому, чтобы принять на себя крест жизни, уготованный каждому из нас.

И тогда только человек осознает, что все, пережитое им, исчезло как дым, и уныние подавляет его жизнь. Но и здесь человек не поймет того, что уныние и является тем ядом, который он вкусил в расцвете своей жизни под сладкой оболочкой врага.

Еще раз задаю вопрос: что же делать? Учиться жить в чистоте сердечной. Привыкает же человек, встав утром от сна, освежить свое лицо чистой водой. Это входит у него в привычку, и если лишить его этого, то он будет чувствовать себя очень неудобно. Вот так надо привыкать человеку блюсти и свое сердце в чистоте, и когда это станет привычкой, тогда человек будет чувствовать себя очень неловко, если чистота сердца его потемнеет.

Стыдно человеку с неопрятным видом показываться перед людьми, даже если он их не уважает, но как мало мы испытываем стыда, когда встречаем людей в нечистоте своего сердца! Но если мы с этой нечистотой будем жить, то она нас заведет во тьму греховную.

Чтобы спастись от этого, надо остановиться, внутренне остановиться, сознавая, что ни шага мы не должны делать в таком состоянии. Мы будем должны, конечно, жить и исполнять необходимое, но внутренне, в своей совести, мы должны быть мертвыми, не доверяя никаким обольстительным мыслям, которые враг внушает нам. И в таком положении человек должен оставаться, забыв о времени и ожидая только того, чтобы в гробовом омертвлении, а оно является лучшей защитой от вражьего искушения, блеснул луч или хотя бы искра Святой Христовой Любви. И только тогда он увидит, какие обольстительные бездны были вокруг него, как ловушки, расставленные врагом для нашего порабощения.

Но часто враг стремится поработить нас не обольстительными мыслями, а открытым нападением, безжалостно нанося нам удары, вдруг на человека обрушиваются бедствия, начиная с самых малых и кончая смертельными, весь арсенал своего оружия пускает он в ход, а цель его одна — сломить дух человека и поработить его.

Такие нападения враг совершает по своему произволению, но не без попустительства Божьего: они необходимы для того, чтобы определить степень преданности человека воле Божьей в любви к Нему. Часто человек бывает так слаб, что не выдерживает простых укоризн, а тем более оскорблений и унижений, не выдерживает разных жизненных невзгод и ожесточается, теряет веру. У него рождается стремление защитить себя любыми средствами, и если это ему не удастся, то в нем укореняется затаенная злоба и он ждет случая, чтобы отомстить за все унижения, которые он претерпел. В этом случае он отрывается от Бога и полагается на свою силу или на помощь людей, подобных себе.

Врагу этого вполне достаточно, так как он запутал в своих сетях человека и господствует над ним.

Но не всякий человек поддается такому малодушию и оставляет благодатное единение с Богом. Многие противостоят и, несмотря на все вражеские искушения, сохраняют верность Богу, и Господь посылает им силу противостоять искушению и не оставляет их до тех пор, пока они остаются верными Ему. В этом случае человек не только побеждает искушения, но и выходит из них окрепшим, готовым к еще большей борьбе с искусителем.

Но жизнь переполнена испытаниями несравненно более тяжелыми, чем те, которые были упомянуты. Люди теряют самых близких людей, сами подвергаются болезням, бывают жертвами стихийных бедствий и всякого насилия. Эти испытания часто носят такой характер, что лишь очень немногие способны их выдержать, не отступая от Христа, а не отступает от Христа тот, кто живет в любви к Нему и в преданности Его Святой воле. Большинство же людей расслабляются духом, теряют веру, ожесточаются, омрачаются ненавистью, ропщут на несправедливость, как они думают, Божью, ропщут на Бога и даже отрекаются от Него. А это врагу нашего спасения только и нужно.

Жизненный путь такого человека усеян всякими испытаниями. Для христианина эти

испытания, независимо от их тяжести, являются поводом для свидетельства своей любви ко Христу. Надо стоять на одном месте до тех пор, пока огонек любви святой не обогреет мое сердце и не осветит путь жизни предо мной, и в тот самый миг тьма, которая подавляла меня, хотя и остается, но коварной, прельстительной силы в себе уже не имеет.

С человеком происходит подобное тому, как на заре рассеивается ночная тьма, и человек все больше и больше видит окружающее. Только тут он обнаруживает, что в то время, как его тянуло вперед, он стоял у бездны. Но он не доверился себе, пока отблески восходящего солнца не осветили землю, и как только отблески мелькнули и осветили то, что было перед ним и окружало его, так он сразу устремился вперед, минуя бездну, по верному пути.

«Я это хорошо чувствую, и поэтому испытываю глубокое облегчение, когда говорю тебе то, что меня мучает. У меня такое ощущение, что я, говоря с тобой, перекладываю на тебя то, что мучает меня. Я уже не чувствую себя одиноким, и хотя меня часто подавляют отдельные переживания, но я ощущаю твою душу и мне бывает легче. У меня рождается надежда, что ты не только поймешь меня, но и поддержишь».

«Будем надеяться, что общими усилиями мы устоим против унылых настроений. Но сейчас я вижу, что ты очень беспокоен. Я слушаю тебя».

: Мой путь к Богу и в Церковь

Свидетельства

В.Д.

Люди моего поколения хорошо помнят войну, вернее ее последствия: разруха, голод, плач и горе в каждой семье. Лампадка, пламя свечи у иконы, которые были в подавляющем большинстве домов той местности, где мне пришлось провести свое детство, крест с распятием на перекрестках дорог. Люди, проходящие мимо, творят крестное знамение, беззвучно, одними губами, шепчут молитву. Одним им известно, что они просят у Бога. В Западной Белоруссии моих детских лет, где, как теперь известно, каждый четвертый погиб от рук фашистов (а сколько — от рук своих палачей?), было с чем обратиться к Богу, и было что у Него просить. И несмотря на голод и продолжающиеся беды, на террор Советской власти, связанный с ликвидацией народного движения, т.н. «бандитов», люди оставались тихими и приветливыми — словно в их душах теплилась лампадка надежды на Высшую защиту и избавление.

В каждом доме, где мне в силу обстоятельств приходилось бывать (просил милостыню), меня кормили, делились последним, и рассказывали о Боге, утешали, и провожая в дорогу, крестили вслед, говоря: «Спаси Господи!» В такое суровое время, в раннем детстве, в одной неизвестной мне белорусской семье маленькая старушка повела меня в церковь и попросила священника окрестить. Я не помню таинства крещения, не запомнил ни местность, ни церковь, ни священника, который меня крестил, и крестили ли меня вообще в этот день, но я на всю жизнь запомнил: где церковь — там добро! Эту веру в добро, в любовь я пронес через всю жизнь, даже не сознавая этого.

Потом наступило время забвения... Я был молод, здоров — церковь была мне не нужна, Бога я забыл. За это и расплатился долгими годами заточения. И там же вновь нашел Бога, пришел в церковь, теперь уже навсегда. А было это так. Жизнь гоняла меня по необъятным просторам бывшего Союза. Исколесил я от Бреста до Камчатки, жил по-всякому, нисколько не задумываясь о смысле, как перелетная птица, если не хуже, нигде не вил гнезда. В моих

деяниях и воровство, и кровь, и коварство, и обман. Я никогда не сознавал, что это страшные грехи. В очередной раз садясь в тюрьму думал: «Попался — так тебе и надо. Не зевай Фомка — на то и ярмарка».

А на той ярмарке жизни все, чем я занимался, было нормой. Все воровали, все лгали, думали одно — делали другое, вся жизнь была двойной. Иногда я сомневался в правильности этой жизни, ко мне приходили мысли, что это не так. А вот как правильно? В чем смысл жизни? — Никто мне в то время сказать этого не мог.

Любил я в молодости посещать кладбища: тишина, спокойствие — посидишь, поразмышляешь о бренности жизни. Иногда кладбище становилось для меня и местом убежища от преследователей. Рядом с кладбищем иногда была церковь. Заходил туда, вспоминая, что меня тоже когда-то крестили... а может нет? Этот вопрос стал все чаще всплывать с годами. Однако чем старше я становился, тем больше отдалялся от Церкви, тем больше накапливал грехов, доходя до крайней точки... Сознание заполнялось одной злобой, в размышлениях о прожитой жизни искал врагов и средства отмщения. Сладостно замирало сердце от картин мнимых злодеяний... Да и не мудрено: на шестом десятке лет, испробовав все, сознавая, что скоро придет конец — надо уйти, хлопнув дверью! «Кого жалеть? — думал я, — Весь мир бардак, а люди — дряни. Меня-то никто не жалел». И вот тут-то и приходили воспоминания далекого детства — старушка, что пожалела, накормила, обогрела и отвела в церковь.

Подходил конец моего последнего срока. Это вообще не самый легкий период в жизни каждого узника. Мысли металась в голове, как звери в клетке: что делать, как жить и жить ли вообще? План мести, разработанный мною давно, выполнять-не выполнять? Выполню — что это даст? Прибавит грехов в мой сосуд, который и так уже переполнен? А как же те люди, которые пострадали ни за что в годы репрессий? Почему не начинается гражданская война? Значит, месть ничего не решает? И в этот период времени мне в руки попадает Библия — от нечего делать, работы в то время не было (производство позакрывали). В общем, читаю и нахожу ответы на вопросы, мучившие меня. Углубившись в чтение я стал замечать, что многие места для меня непонятны, а другие вообще непостижимы. Стал искать разъяснения. Слава Богу, к тому времени в «местах не столь отдаленных» разрешено было вероисповедание, закон «О свободе совести» разрешал устраивать комнаты для молитв любых конфессий. Одна такая уже существовала в колонии в бывшем здании общеобразовательной школы, а православной еще не было. Вот тогда я и вспомнил окончательно, что я православный по крещению, и что мой долг и вера обязывают меня устроить место для молитв, чтения духовной литературы и т. д. Я стал искать людей, тяготеющих к православной вере, и вскоре нашел. Вместе мы добились у администрации колонии разрешения открыть комнату для православных. Связались с местной церковью и с помощью местного священника, о. Николая, устроили молельную комнату, где стали собираться для чтения Евангелия и духовной литературы, которую приносил о. Николай. Он же говорил проповеди, отвечал на наши вопросы, учил молиться. Последние два года пролетели незаметно, С верой в Бога пришло успокоение. Я нашел ответы на многие интересовавшие меня вопросы. Выходил на свободу я другим человеком. Что не удавалось сделать всей исправительной системе, сделала одна книга — Библия, истинно книга жизни.

В. Е.

Крестили меня «налетом» в 5 лет. Крещение я запомнила как обычное, но страшноватое событие, и больше, до 25 лет, я в церкви не была. Вспоминаю свое первое понимание связи с Кем-то (Тем, от Кого мы зависим) — это было лет в девять, когда умер мой отец. Отец был единственным, кто мною жил и очень меня любил. Мама считала меня лишним ребенком и всячески мне об этом напоминала.

Вот тогда за мое воспитание взялся Господь. Я почти машинально замечала за собой Чей-то глаз, который за мною следил, и то укоряя, то любя, то что-то поясняя, вел меня по жизни. Был момент, мне было двенадцать лет, когда от безразличности, злобы окружающих и жестокости мамы я хотела отравиться. Я просидела пол-ночи над прощальной запиской, параллельно прожив целую жизнь, говоря с кем-то. И когда я поняла ненужность этого поступка, все улеглось, и я еще долго об этом не вспоминала.

Бог послал мне единственную подругу, с которой я дружила с детства. Она была из верующей семьи. В наших с ней разговорах мы не касались вопросов веры, просто однажды она сказала, что Бог есть, и она это знает. Своим поведением и добротой она заставляла увидеть разницу в людях верующих и неверующих.

Моя судьба была всегда трудной, мне все очень тяжело доставалось, я много болела. Лет до шестнадцати я была «гадким утенком» — меня так же клевали и обижали, поэтому радостного детства я не помню.

Но к этим годам я вдруг очень изменилась: стала симпатичной, перестала болеть, науки стали даваться легко, появился огромный творческий потенциал, много друзей, особенно много женихов (хороших).

Я все чаще вслух стала говорить: «Слава Богу», — но не всуе. Более того, если я очень серьезно, в сердце обращалась к Богу, то обязательно получала то, о чем просила.

И я это стала умом понимать, и часто вспоминала слова незнакомой женщины, которая после смерти отца сказала мне: «Вот теперь о тебе будет заботиться сам Господь — ведь ты сирота».
<...>

Я всегда знала, что не буду жить не только в отчем доме, но и в этой стране (я жила в Киргизии, в г. Фрунзе), и в двадцать четыре года переехала в очень русский город Александров Владимирской области, который еще при Иване Грозном был сильным духовным центром, Загорск от него находится в 20 мин. езды на электричке. Во мне проснулась жажда путешествий по России (это был 1985 г.), при этом особый интерес вызывала древняя храмовая архитектура. Я проехала (прошла) все Золотое кольцо. Храмы дали новые мысли и интересы. В это же время я познакомилась с семинаристом из Троице-Сергиевой лавры и, полная комсомольского задора, засыпала его вопросами. За время нашего двухгодичного общения он стал о. К. и провел много часов со мной и двумя моими подругами, отвечая на наши вопросы. Эти беседы на годы оставили след в моей душе, и когда я переехала в Питер, общения с ним мне очень не хватало. Вопросов возникало все больше, тем более, что в начале 90-го года всевозможная литература просто «рухнула» на нас, и первое, с чем я познакомилась, была теософия. Но я всю литературу привыкла читать, оценивая критически, а особенно такую. Появился большой интерес к философии. И получилось, что я одновременно стала и приходить в храм (только заходить), и «носиться» по различным курсам и школам теософско-индийских направлений. Затем появился большой интерес к истории христианства и других религий — мусульманства, иудаизма, буддизма и др.

Итогом этих поисков явилась уверенность в правильности моего выбора — православие. Все сравнения оказались подтверждением Истины. И когда я вышла из этой бури, появилась потребность жить по-христиански, исповедаться, найти пастыря. Через годы Бог послал мне такого человека — о. И. из Преображенского храма. Беседуя с ним часами, присутствуя на богослужении, читая Библию, я чувствовала, что на меня сходит такая благодать, что все в жизни происходит чудом. «Сваливались» и искушения, и очень сильные, но преодолеть их было не так сложно — все происходило по воле Божьей!

В это время люди стали тянуться ко мне с вопросами и симпатией. Вдруг я поняла, что все их проблемы — от пустоты душевной и без Бога им не справиться. После бесед, в которых я рассказывала о своем духовном опыте, о христианстве, люди шли в церковь, менялись, решали свои вопросы значительно легче. Но сама я (поездив по святым местам) понимала, что нет у меня фундамента, на котором можно удержаться, и приводя кого-то в церковь, сама я все больше уходила в суету, все чаще стала попадать в «силки», немощь росла. А тут еще маму к себе перевезла — брат умер. Живя врозь много лет, мы стали совсем чужими, и только долг перед ней (генетический) заставлял все время о ней переживать. Но я твердо стояла на пути православном, а она на протестантском (пятидесятническом). Она стала агрессивной и нетерпимой ко всему не-пятидесятническому, а так как их каждый день учат, как нападать и что говорить, я стала понимать, что кроме выполнения христианских правил мне не хватает еще и теории. Короче говоря, я решила, что мне надо радикально подходить к религии. Целый год я думала, на какие курсы пойти учиться, но как-то все время что-то мешало этому. А тут одна из моих «крестниц» стала звать меня на оглашение, которое она сама прошла с благословения своего духовного отца. Я же видела большие хорошие перемены в ней и посему доверилась на волю Бога и пошла оглашаться. Оглашение шло через тернии, но почему-то я знала, что это надо, и думаю, все только начинается.

Н.

Когда я пришла к Богу, я уже не помню, — вернее, не могу точно определить этот момент.

Впервые я узнала о Боге в семь лет. Тогда я жила у бабушки. У меня была подружка, ее бабушка молилась и ходила в церковь. Подружка мне и рассказала, что есть Бог. Это не подвергалось во мне сомнениям, но тогда это был Бог «карающий» (теперь я сказала бы, что это был Бог из Ветхого завета).

В церковь я тогда не ходила, близкие мои были далеки от этого. Так я и жила.

Об Иисусе узнала тоже из случайных разговоров, лет в тринадцать. Теперь я знаю, что это был пересказ отрывка из «Мастера и Маргариты».

Уже в институте я пробовала ходить в церковь. Ничего не получилось: было какое-то неприятие. Но как-то я уже молилась. Когда я поняла, что Бог мне помогает — опять же не помню.

Я очень молилась о сыне. Когда он у меня родился, я, пожалуй, окончательно уверовала в то, что Господь меня слышит, помогает, не оставляет, что все хорошее, что есть в моей жизни, послано Богом, и только благодаря Богу я и живу. Поэтому я крестила сына.

Тогда же я поняла, что нельзя жить какой-то «своей верой». Так начался мой путь в церковь. Я стала молиться каждый день, начала читать Библию, пыталась ходить в церковь. Но в Библии я не понимала ни слова, и в церкви тоже была чужая.

Примерно в это же время знакомые пригласили меня на открытую встречу, и я стала ходить с ними на оглашение. Мне приоткрылась Библия. В тот раз я не дошла до крещения, но я смогла читать Новый завет. Я плакала над страданиями Христа.

Прошло несколько лет. Те же знакомые опять пригласили меня на открытую встречу, и снова я стала ходить на оглашение. Трудно поверить, но в начале оглашения я думала, что можно не ходить в церковь, а многое в Библии вызывало у меня протест. Но надо было сделать усилие и ходить на литургию. И однажды я почувствовала, что становлюсь членом Церкви.

Благодаря оглашению Библия стала для меня наполняться живыми людьми. Было непостижимо, что они были так близки к Богу.

Сейчас я во всем стараюсь жить по совести. Кажется, я уже готова принять Крещение и идти дальше по этому пути.

Павел Мейендорф: Литургический путь Православной церкви в Америке. Часть вторая

Богослужение и таинства

В 19-ом номере «Православной общины» (№ 1 за 1994 г., с. 105–115) был опубликован доклад профессора кафедры литургического богословия имени Александра Шмемана Свято-Владимирской православной академии (Крествуд, Нью-Йорк) Павла Мейендорфа «Литургический путь Православной церкви в Америке в XX веке». Этот доклад является первой частью его более обширной одноименной работы, вторую, оставшуюся часть которой мы и предлагаем вниманию нашего читателя. Она касается уже не истории литургического пути Православной церкви в Америке, но тех вопросов литургической жизни Церкви, которые еще только ждут своего обсуждения и, соответственно, решения.

Несмотря на очевидные различия, проблемы, с которыми сталкивается Православная церковь в сегодняшней России, во многом совпадают с теми, о которых пишет Павел Мейендорф. Это позволяет надеяться, что настоящая публикация поможет всем нам задуматься о тех вопросах, которые у нас пока еще практически даже не обсуждаются (так как не решены еще вопросы более фундаментальные и насущные), но вскоре неизбежно встанут и перед нашей церковью.

*** Часть вторая*

Каковы же будут наши дальнейшие шаги? Принимая во внимание нашу теперешнюю ситуацию, приходят на ум три области, вызывающие беспокойство, области, которым мы, православные, уделяли мало внимания в современную эпоху, но о которых, я уверен, мы услышим гораздо больше в ближайшие годы.

1. Участие мирян: их священство

Литургия есть дело всего народа Божьего (laos tou theou), а не обязанностью клирикальной касты, как это было и в античных культах и в иудейской древности. В Новом завете понятие «священство» употребляется в двух смыслах. Во-первых, Христос предстает как единственный Первосвященник, это главная тема Послания к евреям. Именно Христос ходатайствует за нас перед престолом Отца, вознося жертву единожды за всех. Этим актом священство Ветхого Завета завершено или, вернее, в совершенстве исполнено в лице Христа, пребывающего нашим первосвященником вовеки. Во-вторых, Новый завет распространяет понятие священства на всех христиан: «Но вы — род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел» (1 Пет 2: 9). Это есть распространение священства Самого Христа, поскольку Церковь есть ни что иное, как Тело Христово, которому вверено исполнение в мире священнического служения Самого Христа. При крещении человек «облекается во Христа» (Гал 3:27), становится членом Тела Христова, а, следовательно, и участником Христова священства. Знаменательно, что термин «священник» (hierous) в Новом завете никогда не применяется ни

по отношению к епископу (episkopos=блюститель), ни пресвитеру (presbyteros=старейшина) 1).

Таким образом, в совершении литургии функция священника осуществляется всей общиной, в силу крещения ее членов. Функция же рукоположенного клира — председательствовать в общине священников, объединять их священническую молитву. Вот почему в литургических молитвах первое лицо всегда стоит во множественном числе. Нигде это не является столь явным, как в самом центре анафоры св. Иоанна Златоуста:

Пресвитер: Воспомявая же эту спасительную заповедь и все, ради нас бывшее: крест, гроб, тридневное воскресение, на небеса восхождение, одесную сидение и второе и славное пришествие,

Твое из Твоего Тебе принося всегда и везде,

Народ: Тебя восхваляем, Тебя благословляем, Тебя благодарим, Господи, и молимся Тебе, Боже наш.

Все это — одно предложение, в котором единственные активные глаголы — это глаголы, которые выражают действие всего собрания и поются им: Тебя восхваляем, Тебя благословляем, Тебя благодарим, Господи, и молимся Тебе, Боже наш. Это — молитва жертвоприношения, здесь мы приносим нашу жертву хвалы. В то время как в языческой или иудейской практике только священник приносит жертву, здесь это, очевидно, совершается всем собранием, всем священническим народом.

Тем не менее, то, как мы служим литургию, часто затемняет этот факт, и мало кто из мирян даже знает, что анафора — это их молитва. Действительно, уже в течение многих веков миряне не могут даже слышать слова евхаристической молитвы, которая произносится про себя священником, стоящим за закрытыми воротами алтаря. И, в еще более недавнее время, даже ответные реплики народа были отобраны у него хорами, которые часто стоят не вместе с общиной, а в удалении от нее, на хорах. Таким образом, миряне становятся зрителями, наблюдающими за представлением, разыгрываемым клириками и хором. Как часто мы говорим, что это епископ/священник служит литургию: понимаем ли мы, что мы в действительности говорим? Введение же православными в Америке скамей в церквях делает их похожими на театры и еще более усиливает у мирян чувство, что они — пассивная публика, пришедшая на спектакль. Понимание литургии как зрелища еще более вдохновляется многочисленными символическими толкованиями литургии, подчеркивающими, что литургия — это наглядное представление жизни Христа. О. Александр Шмеман осуждал символизм такого рода, но он и по сей день общераспространен в популярной литературе о Евхаристии. Все эти изменения привели к тому, что роль мирян в богослужении свелась к минимуму, они превратились в пассивных зрителей. И поскольку миряне не вовлечены в богослужение, оно оказывает очень слабое преобразующее действие на их жизнь.

Поэтому первое, что необходимо сделать — это предпринять сознательные усилия к тому, чтобы вернуть мирянам свойственную им роль. Некоторые шаги уже были сделаны, по крайней мере, в некоторых общинах. Наиболее распространено частое причастие, постепенно получает поддержку чтение евхаристической молитвы вслух. Но многое еще остается сделать.

Необходимо широкое обсуждение среди наших иерархов, приходского духовенства и мирян их соответствующих ролей в совершении литургии и в церковной жизни. Клерикализм, который широко распространен, должен быть преодолен; богослужение — это всегда соборный акт: ни один священник не может служить литургию в одиночестве; он всегда возглавляет общину,

которая сама должна отвечать и выражать свое одобрение. И молитвы, читаемые священником, это тоже не его собственные молитвы, а молитвы всего собрания. Нужно найти пути более активного вовлечения мирян в богослужение: почему, например, необходимо, чтобы именно хор пел «Аминь» или «Господи, помилуй»? Нельзя ли, по крайней мере, какую-то часть службы петь всем собранием? Антифонное пение псалмов с пением припевов народом также может быть легко восстановлено без изменения структуры наших служб. В этой связи особенно важно знание истории богослужения, поскольку она позволяет нам увидеть, насколько мы обнищали в литургическом плане, но также и предлагает разнообразные модели, могущие оказаться полезными в нашей теперешней ситуации.

2. Ежедневная молитва

Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе (1 Фес 5: 16-18).

Христианство вышло из иудейской традиции, которая знала дисциплину ежедневной молитвы. Благочестивые иудеи, а Иисус, можно сказать, безусловно, был из их числа, молились, по крайней мере, два или три раза в день. Дидахе, самый ранний «церковный устав», датированный приблизительно 125 г., учит христиан повторять молитву Господню трижды в течение дня. К концу второго века устанавливается уже, в общем, и время молитвы, — как правило, утром, в полдень, вечером и в полночь. Сначала каждый христианин молился у себя дома частным порядком, а, начиная с IV в., с развитием монастырского и храмового богослужения, ежедневная молитва стала общественной. В течение веков церковь поддерживала эту практику ежедневной молитвы во множестве различных направлений, приспособляя молитву к потребностям каждой эпохи 2). Очевидно, что христианская жизнь не начиналась, и не заканчивалась посещением Евхаристии воскресным утром.

Возможно, важнейшей потерей в процессе трансплантации Православия на Американский континент была именно традиция ежедневной молитвы. Не только будничные службы, но даже субботняя вечерня и воскресная утренняя 3) находятся на грани исчезновения. Можно перечислять бесконечные причины этого: возрастающая секуляризация; тот факт, что прихожане проживают далеко от своей приходской церкви; отсутствие монашества, которое всегда сохраняло и поддерживало идеал непрестанной молитвы; подражание западным протестантским моделям богослужения; конкуренция со стороны телевизора и других форм развлечений... Каковы бы ни были причины, результат, в самом деле, внушает беспокойство. Мы не только отказываемся от молитвенной дисциплины, которая всегда была центральной в христианской жизни, но и теряем богатое гимнографическое наследие, которое воспитывало и формировало бесчисленные поколения христиан.

Ясно, что Православие не может продолжать существовать как исключительно воскресная церковь. Мы должны заново обрести практику ежедневной молитвы, как личной, так и литургической. Быть членом Церкви — значит иметь живые и постоянные отношения с Богом и членами Тела Христова, Церковью. Это не то отношение, которое можно включать и выключать раз в неделю.

Сегодня церковь стоит на распутье, также, во многом, как и в апостольские времена, и в эпоху Константина. Тогда церковь отвечала на вопросы, исходящие изнутри и извне, творческими решениями. Нигде это не является столь очевидным, как в литургической области. Ранняя церковь создала несколько литургических традиций, свободно и творчески привлекая иудейские и языческие источники. Мы можем ясно увидеть это в развитии практики ежедневной молитвы. В четвертом веке, в ответ на совершенно другие условия и сильно расширившиеся возможности, церковь разработала как «соборный» чин, предназначенный для

городских соборов и приходов, так и более сдержанный «монашеский» чин — для монастырей. В последующие века эти традиции подверглись большому числу радикальных реформ — всякий раз, когда этого требовали новые условия. Наша современная практика ежедневной молитвы — вечерни и утрени — большей частью восходит к Афону XIV века, монашеской традиции, постепенно вытеснившей «соборный» чин. Но эта монашеская практика, можем мы с уверенностью сказать, уже не отвечает потребностям нашего времени, о чем ясно свидетельствуют наши пустые субботним вечером церкви. Эта традиция развилась в сельском, аграрном обществе; мы же живем в городском (или пригородном) индустриальном обществе. Мы живем далеко от церкви. Мы, или, по крайней мере, самые благополучные среди нас, живем в нуклеарных (малых) семьях 4), причем мало кто из наших соседей разделяет нашу веру. Все эти факторы препятствуют или делают невозможным для нас просто исполнять ту традицию ежедневной молитвы, которую мы унаследовали.

Не должны ли мы, по крайней мере, начать обсуждение того, что мы можем сделать для восстановления этого важнейшего аспекта христианской жизни? Как нам возродить нашу традиционную практику регулярной, частой молитвы — как общей, так и личной, в наших домах? Как нам вновь обрести то богатое гимнографическое наследие, от которого мы фактически отказались? Предание церкви дает нам немало примеров: большое разнообразие в выборе времени для молитвы, типа богослужения, как личного, так и общинного. Основываясь на этом богатом наследии, мы нуждаемся в том, чтобы развить формы молитвенного материала, которые могут быть использованы и отдельными верующими, и семьями, и малыми группами, а также и нашими приходами 5). Но, прежде всего мы, безусловно, нуждаемся в перестройке нас самих и нашего народа, в осознании того, что христианство — это путь жизни, а не просто исполнение воскресного «религиозного долга».

3. Лекционарий

Чтение Писания и проповедь всегда составляли неотъемлемую часть христианского богослужения — так же, как это было в синагоге. Действительно, само писание Нового Завета создавалось в контексте литургической общины. Именно в литургическом собрании Писание возвещалось, передавалось и толковалось, как мы можем это видеть уже в описании Иустина Мученика, относящемся к середине 2-го века:

«В так называемый день Солнца бывает у нас собрание в одно место всех живущих по городам и селам; и читаются, сколько позволяет время, сказания апостолов или писания пророков. Потом, когда чтец перестанет, председатель посредством слова делает наставление и увещание подражать тем прекрасным вещам. Затем все вообще встаем и воссылаем молитвы» 6).

Вряд ли является случайностью то, что значительное большинство ранних святоотеческих писаний составляют именно комментарии на Писание, проповеди, сказанные в литургическом собрании.

Впоследствии многие из этих комментариев стали источниками для целых поколений гимнографов в Сирии, Палестине и Константинополе. Такие утонченные гимны, как кондаки Романа Сладкопевца или каноны Иоанна Дамаскина или Андрея Критского, буквально дышат Писанием в каждой строчке. Молитвы также насыщены библейским языком и образностью: в анафоре св. Василия Великого, например, вводная часть, до Sanctus`а 7) содержит не менее сорока четырех библейских цитат! Таким образом, чтение Писания, проповедь, пение псалмов и церковная молитва в совокупности служили тому, чтобы дать верным устное библейское образование, всегда пребывающее внутри церковного контекста. Ведь чтение Писания частным образом, хотя оно всегда желательно и полезно, никогда не способно заменить этот

церковный, литургический контекст.

По правде говоря, в современном Православии библейская грамотность едва ли не совсем исчезла. Наша единственная встреча с Писанием происходит через небольшие выбранные отрывки из посланий апостолов и евангелий, читаемые по воскресеньям, и через проповедь (если, конечно, проповедь имеет хоть какое-то отношение к чтениям данного дня, что далеко не всегда так). Значительная часть гимнографии стала *de facto* недоступной, прежде всего потому, что воскресная Евхаристия, единственная служба, все еще посещаемая большинством верных, почти не содержит изменяемых песнопений. Но даже когда верные все-таки присутствуют на вечерне или утрени, песнопения исполняются на таком языке и в таком музыкальном стиле, что это делает их практически невоспринимаемыми. Что же касается предстоятельских молитв, в особенности анафоры, то в большей части православных приходо́в они до сих пор читаются про себя.

То, что у нас осталось, это по большей части чтения из Апостола и Евангелия воскресным утром. Эти два коротких отрывка теперь фактически должны нести на себе груз передачи всего нашего библейского наследия. Ветхозаветные чтения, когда-то бывшие неотъемлемой частью литургии слова, давно исчезли 8). И выбранные отрывки из Нового завета — апостольских посланий и евангелий — неизбежно ограничены в своих возможностях. Евангельские чтения обычно сосредоточены на знамениях Царства, часто на исцелениях или на других чудесах. Это, бесспорно, подходит для воскресенья, «восьмого дня», который сам является предвкушением Царства, однако вследствие этого ключевые тексты, такие как Нагорная проповедь или красноречивая глава о любви апостола Павла (1 Кор 13), не читаются ни в одно из воскресений, в то время как некоторые отрывки, как, например, рассказ об исцелении герасинского бесноватого, повторяются по нескольку раз! Образ Христа, возникающий на основе нашего воскресного лекционария — это образ скорее чудотворца, волшебника, чем учителя. И в результате пастыри в проповеди высказывают свои мысли лишь о свиньях, бросающихся в бездну.

Верующим должен быть обеспечен доступ к Писанию. Библия должна читаться в церкви, и обязательно должна быть проповедь, основывающаяся на прочитанном. Недостаточно просто раздать копии воскресного чтения всем прихожанам и сказать, чтобы они прочли их дома. Изучение Библии тоже недостаточно. Чтобы понять Писание, надо обладать «разумом Церкви», а это достигается только в церковном, литургическом контексте. Частные интерпретации для православных всегда недостаточны.

Чтобы снова дать Библии жизнь в нашем богослужении, мы должны начать расширение нашего воскресного лекционария, по крайней мере, в период между Пятидесятницей и седмицами, подготовительными к Великому посту. Византийский лекционарий, который сейчас используется в нашей церкви, распределяет чтения на все дни недели, в результате чего чтения, назначенные на дни с понедельника по субботу, никто не слышит, поскольку Евхаристия служится ежедневно только в монастырях. Таким образом, нужно принять какие-то меры, чтобы Писание читалось последовательно по воскресеньям, что, возможно, приведет к созданию двух- или трехлетнего лекционария. Это позволит читать целые книги по порядку и даст возможность проповедникам рассматривать библейские книги в полноте, как мы встречаем это в комментариях Иоанна Златоуста и других великих проповедников. У верных появится прекрасная возможность услышать Писание в гораздо большем объеме, а у пастырей — более богатый источник материала для проповедей.

Во-вторых, мы должны, по крайней мере, рассмотреть вопрос о восстановлении в богослужении ветхозаветных чтений. В настоящее время только несколько избранных стихов из псалмов все еще продолжают использоваться в Евхаристии. Немногие оставшиеся чтения ограничены

вечернями под большие праздники и памяти святых. В течение полутора тысячелетий церковь постепенно ограничила использование Ветхого завета в богослужении, за исключением Псалтири. Хотя церковь никогда не разделяла полный отказ от Ветхого завета, как это было у гностиков, она никогда не чувствовала себя в отношении него спокойной. В результате отрывки из Писания были сначала дополнены, а позже просто заменены гимнографическим материалом, — как это произошло, например, с канонам утрени 9). Эта новая гимнография базировалась, иногда весьма вольно, на материале Писания, но истолкованном в христианском смысле с помощью аллегии или типологии. Ветхозаветные чтения исчезли из Евхаристии где-то в районе VII века 10). Вследствие этих изменений Ветхий завет с трудом воспринимается в сознании большинства верующих как Священное писание, если только не совсем абстрактно. Нельзя ли было бы включить в литургию, непосредственно перед прокимном, по крайней мере, избранные места из Пятикнижия, Пророков и книг Премудрости?

Заключение

Кризис, о котором писал тридцать лет назад о. Александр Шмеман, только углубился. Каноническая проблема не была разрешена. Духовная проблема стоит как никогда остро. Безусловно, остается и литургическая проблема, несмотря на множество изменений в этой области, произошедших в последние десятилетия. И, тем не менее, та задача, которая стоит перед церковью сегодня, не отличается от той, которая стояла 2000 лет назад в Палестине, или 200 лет назад на Аляске: первейшая задача Церкви, как и всегда, заключается в том, чтобы поставить человека лицом к лицу с Самим Христом, восстановить общение между Богом и человеком. Все, что делает Церковь, со всеми своими структурами, программами и мероприятиями, ценно не само по себе, но должно направляться к этой цели и оцениваться исходя из эффективности, с которой она достигается. Это особенно относится к церковному богослужению, потому что богослужение, и Евхаристия в особенности, это преимущественное место встречи Бога и человека. Для большинства верующих воскресная литургия — это их единственная встреча с церковью. И это предполагает постоянную переоценку, также как и чуткость к тому обществу, в котором церковь призвана совершать свое служение. Это предполагает также открытость к изменениям, — и в этом отношении византийская литургия претерпела больше изменений и была более способной к адаптации, чем любая другая литургическая традиция.

Мы можем просто ничего не делать и жаловаться, что мы теряем свои «традиции». Или, оглядываясь на заре XXI века на нашу двухсотлетнюю историю на этом континенте, мы можем возвести «ум к отцам» и ответить, с верой и творчески, на те задачи, которые ставит перед нами новая эра.

Перевод И. Волковой и С. Зайденберга

*Перевод выполнен по: Paul Meyendorff. *The Liturgical Path of Orthodoxy in America*, St Vladimir's Theological Quarterly, vol. 40 — Nos. 1 & 2, 1996.

1) До четвертого века этот термин не применялся по отношению к рукоположенному клиру. Наилучшее рассмотрение вопроса можно найти в Raymond E. Brown. *Priest and Bishop: Biblical Reflections*, New York, Paulist press, 1970.

2) По раннехристианскому периоду см. Paul F. Bradshaw. *Daily Prayer in the Early Church*, New York, Oxford, 1982. О развитии богослужения см. Robert F. Taft. *The Liturgy of the Hours in East and West*, Collegeville, Liturgical press, 1986.

3) В славянской и Афонской практике, в соответствии с «Уставом св. Саввы» воскресная утренняя

служится не в воскресенье утром, а в субботу вечером, сразу после вечерни.

4) Нуклеарная или малая семья — семья, в отличие от большой семьи, состоящая только из родителей и детей — Прим. ред.

5) Некоторые из таких материалов уже появились; ср. Constance J. Tarasar. *The Seasons of Christmas*, Syosset, NY, Orthodox Church in America, Department of Religious Education, 1980.

6) Апология 1, 67

7) Так в западной традиции называется в анафоре ангельская песнь »Свят, свят, свят Господь Саваоф". — Прим.ред.

8) Возможно это произошло уже в VII веке, хотя ветхозаветные чтения все-таки сохранились в некоторые праздничные дни, такие как навечерие Рождества, Богоявления и Пасхи. Ср. Juan Mateos. *La celebration de la parole dans la liturgie bysantine*, в *Orientalia Christiana Analecta*, 191, Rome, Pontificium Institutum Studiorum Orientalium, 1971, с. 130-133.

9) О каноне, а также о византийской гимнографии см. уже довольно старое, но все еще актуальное исследование: Egon Wellesz. *A History of Byzantine Music and Hymnography*, Oxford, Claredon Press, 1949.

10) См. выше примечание 6.

: Отошла ко Господу Катя Савельева

Церковная жизнь

24 сентября 1998 года в день преподобного Силуана Афонского отошла ко Господу инокиня Екатерина (Екатерина Васильевна Савельева). С первых дней своей жизни она дышала горным воздухом Христовой Любви. Ее отец и мать (будущие архимандрит Сергей и монахиня Серафима) положили свою домашнюю жизнь в основание духовной семьи и силой Божией преобразили ее. С этой жертвы начался духовный путь, который вобрал в себя несколько молодых людей и протянулся на 70 лет (с середины 20-х годов до сего дня). Этот уникальный опыт был недавно явлен нашей Церкви через гениальную книгу архимандрита Сергея (Савельева) «Далекий путь»¹. Книга вышла в 95-м, Катя (она не позволяла себя назвать иначе) ушла в 98-м. Целых три года дочь отца Сергея была «свидетелем верным» в этом мире. Три года она была среди нас живой печатью, живым аминем этого опыта, и самим фактом своего существования подтверждала подлинность книги. И вот Катя ушла. В ее лице ушел еще один исповедник Веры с нашей многострадальной земли. И мы уже не можем посмотреть ей в глаза. Стало сиротливо... Но там, где вся жизнь отдана Богу, не бывает случайностей — уход Кати стал заключительным, утверждающим аккордом конференции «Язык Церкви».

Вечером, 24 сентября с.г. конференция заканчивала работу. Последний доклад был посвящен «Далекому пути». В конце доклада прозвучали слова: «Сейчас отец Сергей выходит на открытое служение и его голос, еще недавно совсем незнакомый, становится все более различимым. Он крепнет и несет утешение, надежду и вдохновение. Вдохновение на христианскую жизнь в современных церковных условиях. Отец Сергей любил повторять: «Покажите нам настоящего христианина и мы пойдем за ним на край света». Сегодня сам отец Сергей и его родная (т.е. Христова) семья становится для нас путеводной звездой. Господь открывает нам их опыт и соединяет нас. Не только духовно, но и самым непосредственным

образом (сегодня в зале присутствует одна из сестер этой семьи). И это понятно, ведь Церковь живет верой в общение святых».

Через два часа после заключительного слова конференции Екатерина Савельева предала дух Богу — Тому, Кто стал для нее основой и целью жизни. Но закончился ли при этом Далекий Путь? — Нет!

Когда уходит христианин, то он с особой силой зовет тех, кто его слышит, на Путь Христовой Веры и Жизни. И силой Божией собирает всех.

Смерть Кати — это не смерть, а если и смерть, то только в евангельском смысле: «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода» (Ин 12: 24).

Катя не будет Катей, если эти плоды не появятся. Но они появляются и будут обильными. С Катиным уходом Далекий Путь распахнулся и для нас. Начался новый этап, еще мало известный, но вовлекающий всех, жаждущих охристовления жизни. И этот Путь будет продолжаться и ныне, и всегда, и вечно.

Как это ни удивительно, но именно об этом писал отец Сергей в духовном завещании родным более двадцати лет назад:

«Я не сирота. Моя семья безмерна по числу имен, и все они вечно живут во Христе, так же как и я сам живу в Нем. Вы непременно будете жить во Христе до последнего вздыхания вашего, и родная любовь будет вас так же укреплять и согревать, как и согревает меня. И не только <вас>, но и того, кого Господь соединит с вами в несении Креста, и это будет продолжаться до конца земной жизни человека. Родная семья и есть Нерукотворенная Церковь Христова. Границ ее мы не знаем, но знаем только, что она раскрывается в нашей любви и соединяет нас вместе»².

Катя (она так и осталась «малышом» в своей семье) пошла к родным, и найдет их в Боге. Она идет в белых одеждах, облечемся же в них и мы, откроем свои сердца пред Богом и покажем Ему все, что взрастила в них Катя своей любовью и своим свидетельством, продвинемся в этом Дальнем Пути родной Христовой Жизни, Веры и Любви!

И.П.

Не так давно в архиве о. Сергия был найден текст редкой духовной силы. — В 70-х годах, обозревая уже 50-летний опыт жизни семьи-общины, архимандрит Сергей пророчески раскрывал его суть:

«Когда я был еще юным, Господь соединил меня с другими людьми. Они были и старше меня, и моложе по возрасту. Все мы были объединены в одном желании — обрести правду жизни, и не отвлеченную, а такую, которая осветила бы каждый день нашей жизни и всю ее в целом.

Но, помимо этого, мы были все молоды, и большая часть из нас только начинала сознательную жизнь. А время было очень трудное и соблазнительное. Шлюзы жизни были открыты, и поток ее в своем движении почти не имел никаких преград. Не было преград и в жизни нашей. А если к этому прибавить способности и даже таланты, которые могли нас выдвинуть в жизненном потоке на заметное место, льстившее нашему самолюбию, а также прибавить ту духовную красоту и даже обаятельность, которые были присущи всей нашей семье, то только чудо могло спасти нас от растворения в среде, чуждой нам по духу, но весьма соблазнительной по внешности.

И это чудо совершилось. 29 октября 1929 года сердцевина нашей семьи была разгромлена³. Наши близкие и родственники были сосланы в отдаленные места. Для тела это было болезненно, но в болезни мы обрели новую духовную силу, еще крепче связавшую нас воедино.

Так открылась новая страница нашей жизни, и эта жизнь сама нашла для себя имя — «родная».

Она объединила людей, родственными узами не связанных и всего лишь два-три года назад узнавших друг друга. И объединила так крепко, как не объединяют самые близкие родственные узы!

Господь не защитил нас от тяжелых испытаний, но в то же время даровал нам многоценное сокровище — родную семью.

Так, через скорби и унижения, мы обрели новое познание жизни в благодати Святой Любви. Вот почему день 29 октября для нас остался, может быть, самым дорогим днем во всей нашей жизни. Об этом свидетельствует и то, что стоя у края могилы, мы, еще оставшиеся в живых, этот день всегда благословляем. И ни одного дня своей жизни, как бы горек он ни был, никто из нас не вычеркнет из своей памяти. Мы всегда благодарим Бога за то, что Он предопределил нам особый путь жизни, и мы никого не осуждаем за то, что нам пришлось пережить. То, что родилось 29 октября, осталось неизменным во всей нашей последующей жизни.

С каждым днем мы все больше и больше убеждались, что Господь открыл нам особый путь не в отвлеченных умствованиях, а в самой жизни. Путь благородный и прекрасный. Идя этим путем, мы родную любовь, связавшую нас, берегли как святыню. Она воспитывала и умудряла распознавать соблазны жизни, укрепляла в борьбе с ними, и в то же время постоянно возвышала дух наш к горнему миру, в котором все темное, и даже самое темное растворялось бесследно.

Мы, родные, были как все, и в то же время имели в себе что-то такое, что обеспечивало для нас святую свободу в познании правды Божией на земле.

Дорогой мой, ты не думай, что наше полувековое прохождение по лицу земли было безоблачным. Каждый из нас в своей личной жизни не миновал рытвин, ухабов и обрывов. Нет. Путь нашей жизни часто был нелегким. И немало искушений было на нем. Но эти искушения неизменно побеждались нашей родной любовью и служили только тому, что еще больше укрепляли нас на нашем пути.

Родной мой человек, и если ты услышал от меня что-то необычное и дорогое для себя, то помни, что я тебе обо всем этом мог сказать только потому, что меня возростила таким, каким ты узнал меня, родная святая любовь.

Еще я скажу тебе одну тайну. Свято любя друг друга, мы не замыкались в себе. Мы были неразрывно связаны со всеми людьми всего мира, и со всяким дыханием Божиим. Со всею природой. Со всею вселенной. Она открылась нам храмом Божиим, а человек в ней — лучшим Его созданием.

Ты говорил, как же это так, когда столько зла кругом и ненависти, когда человек ради своих личных выгод подавляет даже друга, вся природа изнемогает от безумного порабощения ее человеком — где ты видишь храм Божий?

Друг мой, ты прав. Но правда твоя не совершенная. Правда твоя — правда мира сего. В том-то и чудо родной жизни во Христе, что неправда бесследно поглощается правдой. И всякий,

отдавший себя родной, а это значит Христовой, любви, хоть и может быть затоплен волнами зла, но поработиться злом и погибнуть в бездне отчаяния он может только в том случае, если сам оставит Христа. Вот родная жизнь тем и замечательна, что человек не один в ней, а вместе с другими проходит свой жизненный путь, и когда мутные волны бьют и угрожают ему потоплением, то родная любовь спасет от поглощения безымянной бездной. Она бессильна поглотить тех, кто связан узами любви, так как в ней присутствует Сам Христос: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Вот родная жизнь и является исполнением этого завета. Это тоже чудо. Не забудь, что и оно родилось тогда, когда учинившие разгром нашей жизни, по существу ничем им не угрожавшей, были убеждены, что с нами уже все покончено, хотя отчета в том, зачем им это нужно, они себе не отдавали. «Пути Божии неисповедимы»»⁴.

Архимандрит Сергей (Савельев). Далекий путь, М., Христианское издательство, 1995, то же с небольшими сокращениями — М., Даниловский благовестник, 1998 г.

2 Публикуется впервые

3 На полях пометка о. Сергия: «... другое надо слово, мягче». (Здесь имеется в виду арест нескольких членов общины, в том числе и самого о. Сергия (тогда — Василия Савельева). — Прим. ред.)

4 Публикуется впервые

Никита Струве: Явление Солженицына. Выступление в сельском клубе в Заостровье под Архангельском, 27.09.98 г.

Церковная жизнь

Солженицын — одно из крупнейших, уникальнейших явлений в области литературы, общественности и даже шире, в области свидетельства о человеке. Как все, я познакомился с ним через первые опубликованные рассказы «Иван Денисович» и «Матрена». И сразу понял что мы стоим перед явлением совершенно уникальным. С тех пор знакомясь с его творчеством, его изучая, а затем имея незаслуженное счастье быть его сотрудником и в достаточной мере близким человеком, почти другом, в течение двадцати пяти лет, я ни разу не усомнился в своем изначальном убеждении, что Александр Исаевич Солженицын наш самый великий современник. Когда я говорю «наш самый великий современник», я говорю не только о русском народе, но и в плане всемирном. И это мое убеждение, основанное на знакомстве и с творчеством, и с человеком, а также и с тем откликом, который он получил во всем мире.

Я довольно много читал лекций о Солженицыне по всей России от Иркутска до Ставрополя, от Рязани до Калуги и встречался с некоторым непониманием, или, мягче выражаясь, с недопониманием явления Солженицына, которое имеет две причины. Во-первых, публицистика отчасти заслонила его художественное творчество, во-вторых, от него здесь ожидали чего-то, что он дать, или вернее сделать, не мог. Думали, вот вернется Солженицын и каким-то мановением его руки все улучшится, или он скажет такое слово, которое позволит из трудного исторического положения, в котором находилась Россия, легко выйти.

В виде преамбулы я приведу слова моего деда Петра Струве, сказанные накануне 80-летия

Толстого. А мы находимся сейчас накануне 80-летия Александра Исаевича Солженицына. Это редкий юбилей в литературе, который он делит с Львом Толстым, с Буниным, оказавшимся в эмиграции. И вот к 80-летию Толстого мой дед, накануне своей первой и единственной встречи с Толстым, писал: «Толстой — существо громадное и страшное, прожившее не одну, а несколько человеческих жизней. И при том таких, каких странно и страшно прожить одному человеку». И надо сказать, что эти слова в гораздо большей степени относятся к Солженицыну. Все-таки Толстой, как мы все знаем, родился в Ясной Поляне и ушел умирать из Ясной Поляны. Это была константа его жизни. В то время как, пожалуй, ни один мировой писатель, во всяком случае в обозреваемом нами отрезке времени, не прожил такое количество человеческих жизней, и притом таких различных и таких страшных. Во-первых, провинциальное детство — Ростов-на-Дону, безотцовщина, нищета. Я посещал Ростов-на-Дону, видел тот дом, который скорее можно назвать халупой, в котором рос Солженицын со своей матерью. До сих пор администрации города Ростова стыдно показывать этот дом, который, слава Богу, сохранился и который должен быть сохранен. Причем провинциальное детство в не совсем русской среде в смысле языковом. Затем комсомольская юность, когда все, приобретенное в раннем воспитании, в частности религиозном, рухнуло в одиночасье и заменилось комсомольской верой, как и у многих в те времена. Затем — успешный капитан советской армии, и на гребне военной славы — арест, тюрьма, Лубянка, годы и годы ГУЛага. Казалось бы, достаточно! Но нет, судьба посылает еще ему смертельную болезнь, как раз в последние годы гулагного существования, — раковую опухоль. Длительное пребывание сначала на койке лагерной, затем в ташкентском госпитале. Болезнь роковую, но из которой он выходит невредим. Затем годы и годы, тоже скрытые, скромного учительства сначала в Казахстане, затем в Рязани. И вдруг, в сорокалетнем возрасте, российская и всемирная слава. После славы — долгие годы противостояния, долгие годы преследований. Я помню, я с ним переписывался в начале семидесятых годов, когда ему уже была присуждена Нобелевская премия; у него были разные планы относительно доставки на Запад рукописей. И вдруг он мне пишет, что «странная какая-то у меня болезнь, совершенно непонятная, жуткая чесотка, аллергия». Он не знал, как с ней совладать. Но его удивительный организм, Богом данные сверхчеловеческие силы, позволили эту болезнь одолеть. Но причина ее была в этот раз не органическая, не раковая опухоль, а преступный укол — теперь это подтверждено документами, — который ему тайно сделали в очереди, когда он приезжал в свой родной город, в Ростов-на-Дону, в начале семидесятых годов. Привожу это просто как пример тех рьяных преследований, которым он подвергался. Может быть человек с менее сильной органической энергией и погиб бы от этого укола, сделанного подосланным «органами» человеком.

А затем, после появления на Западе величайшей книги XX века — «Архипелага ГУЛаг», — высылка и двадцать лет изгнания. Это не шутка — двадцать лет изгнания! Правда, провел он их в непрерывной работе, и зная, что этому изгнанию будет когда-то конец.

Тут я позволю себе привести маленькое личное свидетельство и воспоминание. Я вошел в контакт с Александром Исаевичем Солженицыным в 1970-м году, когда получил от него письмо (в качестве сотрудника Парижского русского издательства) напечатать «Август Четырнадцатого». А затем, через три года, он возложил на меня честь и ответственность напечатать на Западе по его сигналу первый том «Архипелага ГУЛаг». Потому естественно, когда его арестовали и выслали, я поехал встречать его в Цюрих. Ну, там была страшная суматоха. Помню, какой славой, в моем восприятии, был приезд его поезда из Франкфурта и то искреннее и непосредственное ликование, которое стояло на всем пути следования этого поезда. Это был один из славных моментов России: Запад приветствовал русского человека, русского писателя. В этой суматошной встрече в Цюрихе к концу дня мы с ним уединились. Я был, правда, единственным русским среди его встречавших (на самом деле, простите, я француз, но могу сойти и за русского). Ну вот таким не совсем русским, но отчасти почти

русским, я был единственный в Цюрихе. Мы с ним вечером уединились, он прилег на кровать и говорит: «Я вижу день своего возвращения в Россию». Я думаю: «Ну что ж, устал человек. Чего-то там его воображение несет». А он продолжает: «И я вижу, как и Вы когда-нибудь приедете в Россию». Что еще более странно было, потому что я никогда не воображал, что на своем веку мне удастся побывать в России. Это незабываемо. Вот человек имеет таинственное сокровенное зрение. Он видит. Это то, что отличает поэтов, писателей, творцов. У них свое тайное зрение, которое нам неведомо. Вот он прилег после дикого дня, общения с журналистами, после телевизионных камер и вообще всей муры, и вот видит. И никогда за все эти двадцать лет он ни разу не усомнился в том, что настанет день, когда он вернется в Россию.

Я это привожу как некоторый признак того, что Солженицын — явление уникальное. Именно в этом тайном зрении он и есть настоящий писатель. И все настоящие русские писатели всегда были в этом смысле тайнозрители.

Была у Солженицына одна удивительная детская мечта. В детстве, лет девяти, он мечтал попеременно быть епископом, военачальником и писателем. Ну конечно, мы тоже все мечтали о чем-то в детстве, но наши мечты редко осуществлялись. Удивительно то, что эти три призвания Александр Исаевича осуществились сполна. Конечно, в первую очередь, он писатель. То есть наиболее осуществился он именно в писательском призвании. Это было его призвание с детства. Как раз недавно, буквально на прошлой неделе, он мне подтвердил, что писал, начиная с девяти лет. Правда, прибавил он, «всякую чушь». Но позже, во время войны, до ареста, он уже написал некоторые страницы и даже главы, которые впоследствии могли войти почти нетронутыми в его главнейшее сочинение «Красное колесо».

Солженицын — писатель, я бы сказал, до мозга костей. Но и его призвание военачальника тоже осуществилось. Во-первых тем, что он был успешным капитаном советской армии, проделавшим весь путь от Орла до Восточной Пруссии. Тут его военная карьера, как известно, оборвалась из-за неосторожного письма, в котором он упоминал о Сталине, всего лишь. Но тем не менее, и она продолжилась позже, когда после долгих лет безвестия он предпринял свое «бодание с дубом», как он и назвал свою книгу воспоминаний «Бодался теленок с дубом», когда началось его противостояние власти. Он действительно распланировал, как настоящий стратег, свое противостояние всемогущему государству с голыми руками. Как некогда Давид с Голиафом, встал бывший скромный комсомолец Ростова-на-Дону, капитан советской армии, чуть не умерший в ГУЛаге, и довел это противостояние и в личном плане, и в историческом плане до победного конца.

И, наконец, епископ. Епископом он не стал. Но несомненно, чем силен Солженицын, и в этом я глубоко убежден, это в том, что его творчество наделено — именно творчество, я не говорю о публицистике, публицистика всегда имеет относительное значение, — пророческим значением. Когда я говорю о пророческом значении, я хочу сказать, что он в своем творчестве был голосом Божиим. У нас часто суженное понятие о пророке. Нам кажется что пророк это тот, кто предсказывает будущее. В том, что касалось его личной судьбы, и это наличествовало в нем. Вот, скажем, пророчество о себе, сказанное мне в цюрихской комнате, исполнилось. Но это лишь самая, как бы сказать, сниженная часть пророческого служения. Пророческое служение, на самом деле, это когда человек делается инструментом Всевышнего. В этом смысле Солженицына можно сравнить с Достоевским. Возьмите публицистику Достоевского. В значительной мере она уже устарела, она уже не носит пророческого характера. Константинополь мы не взяли, сами позорно провалились, никакой миссии по отношению к Западу не выполнили и т.д. А тем не менее, Достоевский в своем литературном творчестве — голос Божий. И этот голос Божий прозвучал на всю вселенную.

Если спросить любого человека на Западе, кто наибольший писатель современности, то он

почти во всех случаях скажет — Достоевский. Именно потому, что Достоевский не просто писатель, не просто литератор, пожалуй, меньше всего литератор, а именно художник, через которого Бог говорит людям. И в этом смысле Солженицын с ним схож, хотя и не обладает философской глубиной Достоевского и той художественной силой, что роднит Достоевского с греческими трагиками. Он всего лишь бывший комсомолец, капитан советской армии. Но он продолжает то пророческое служение, которое свойственно русской литературе, начиная с Пушкина. Я позволю себе напомнить определение Пушкиным пророческого служения, потому что оно как раз Солженицыну подходит как нельзя лучше:

«Как труп в пустыне я лежал,

И Бога глас ко мне воззвал:

Восстань, пророк,

И виждь, и внемли,

Исполнись волею моей,

И, обходя моря и земли,

Глаголом жги сердца людей».

«Как труп в пустыне я лежал», — это относится к Солженицыну в те дни, когда он, умирая от рака, познал самого себя, познал законы вселенной и смысл того праздника, что мы сегодня празднуем — Воздвижение Креста, восхождение через уничтожение и страдание.

Действительно он лежал как труп. И в этот момент он познал, что такое счастье. Однажды он мне сказал, что никогда не был столь счастливым, как в эти моменты умирания на гулажной койке от раковой опухоли.

Вспомним начало Пушкинского стихотворения о пророке: «И вырвал грешный мой язык, и празднословный, и лукавый». С Солженицыным это действительно и произошло. У него был вырван грешный и празднословный язык и ему открылся основной закон вселенной, который требует прохождения через муки, и через муки крестные, для восхождения и для воскресения.

Чтобы иллюстрировать это мое положение, вспомним все его творчество. Кто его герои? Иван Денисович, который преодолевает все трудности ГУЛага, не погибая ни духовно, ни физически. Матрена — жертва за грехи общества, за грехи семьи. Когда я встречался с Ахматовой, Ахматова сказала: «Когда я прочла »Ивана Денисовича", я сказала — это должны прочесть все сто миллионов! А когда я читала «Матренин двор», я плакала. А я редко плачу!" И эти два образа, они и возникли из этого глубочайшего опыта уничтожения, за которым следует иногда ярко, иногда тайно, но победа.

Возьмем «Раковый корпус». Это двойное прохождение зэка, сначала через смертельные лагеря, но этого было недостаточно, так как это было еще только общественное зло, затем через раковую болезнь, и несмотря на это — воскрешение к жизни. И вдруг, в конце это удивительное лицемерие изначальной добротности творения, райское видение творения после умирания. Такого еще не было в литературе, разве что в поэзии. И выражено это с удивительной глубиной и подлинностью.

Или возьмем «В круге первом». Это политический детективный роман, описание первого круга шарашки. Но, может быть, самые удивительные страницы, те, за которые это произведение останется в мировой литературе, это вхождение в тюрьму бывшего посла, крупного советского

дипломата, которого посылают в Париж. Советскому дипломату быть посланным в Париж — это высшая точка карьеры, но Совести ради он избирает правду и совлекается со всех своих регалий, со всего своего престижа, со всей своей власти (зовут его Володин, что и есть семантический символ власти), и в этом обнищании, в этом уничижении Лубянки обретает самого себя и смысл жизни. Вот уничижения в такой обнаженной степени еще не было в литературе. Разве что у Шекспира, у Софокла. У Шекспира «Король Лир», «Ричард Второй». «Блаженны развенчанные цари» и т.д. Призывая эти имена, я не ставлю, несомненно, в полное равенство Солженицына с Шекспиром и с Софоклом, но тем не менее я глубоко убежден, что в этом и есть освобождающее слово Солженицына, которое соответствует глубочайшему мировому закону Христа. И также я убежден, что несмотря на превратности судьбы, несмотря на все политические страсти, притягивания или неприятия, творчество Солженицына перейдет века.

Я уже назвал «Архипелаг» книгой века. Я сейчас вернусь к литературному аспекту Солженицына. Он принадлежит к тем писателям, которые не повторяют раз и навсегда одну и ту же вещь. Были повести, затем два романа, отображающие единый опыт. Есть писатели, которые сами себя повторяют. Нет, Солженицыну нужно было создать новую форму повествования.

«Архипелаг ГУЛаг», с литературной точки зрения, это художественное исследование. Такого тоже еще не было. Это исследование, причем не историческое, а основанное на устном творчестве, — форма, возвращающая нас к временам летописей. И «Архипелаг ГУЛаг» поразительнейшее произведение устного творчества народа, претворенного одним человеком, здесь через двести, триста свидетелей говорит голос народа. В этом смысле «Архипелаг ГУЛаг» и в литературном отношении произведение уникальное.

Мы на Западе, во всяком случае русские эмигранты и их потомки, всегда все знали о том, что происходит в России, знали о ГУЛаге почти все чуть не с самого его возникновения. Но Запад не хотел верить русской эмиграции. Не хотел верить он и тем свидетельствам, которые просачивались из России. А вот в солженицынское слово он поверил. Почему? Ведь Запад не верил даже свидетелям, пострадавшим, иной раз познавшим одновременно и немецкие лагеря и советские, а Солженицыну поверил. По двум причинам. Поверил он потому, что Солженицын обладал необычайной словесной художественной силой, обладал редкой способностью овладевать множественностью, способностью организовать множество голосов в единое целое. И наконец, он ему поверил, конечно, не только как свидетелю, но еще и как такому свидетелю, который пройдя через опыт ГУЛага, сумел как-то внутренне этот опыт преодолеть и преобразить.

После «Архипелага ГУЛага» писатель мог бы и отдохнуть. Но нет. Изгнанный, и изгнанием одновременно вознесенный, но и обкрадываемый — такому человеку, месившему русскую землю на военных проселках и на гулажных работах, вдруг оказаться в безвоздушном пространстве было тяжелее, чем кому-либо другому, — Солженицын принимается за совершенно новое произведение, теперь вылившееся в десяти томное художественное исследование о том, что случилось с Россией в 1917 году. Огромное задание, огромный замысел, который отчасти его и придавил, но которому он посвятил все часы своего пребывания на Западе. Его не так легко прочесть, это требует и времени, и уровня у читателя. Как-то я его спросил — не преувеличиваете ли Вы уровень ваших читателей? Тем не менее, со временем это произведение войдет в русское сознание и в русскую литературу, потому что в нем сосредоточилась одна черта, о которой я еще не упоминал, но которая мне кажется тоже основной у Солженицына, а именно геройское освещение человека. Боратынский сказал: «Две области сияния и тьмы исследовать равно стремимся мы». Тьма была, но извне. Сила Солженицына в том, что в этой тьме он выделил, изобразил, в каком-то смысле прославил того,

кто этой тьме умел сопротивляться, кто эту тьму сумел преодолеть. Такого геройского освещения человека, но подлинного, нехотульного, как это было в заказной советской литературе, после, пожалуй, Толстого, у нас в литературе не было.

Вот я несколько, быть может, бегло отметил то, что мне кажется войдет в историю русской не только литературы, но и русского духа, и это заслуживает не только Нобелевской премии, но и всероссийского признания Солженицына как уникального явления.

Вопрос. Вы рассказали, как встречали Солженицына в Цюрихе. А возвращался он к нам через Дальний Восток, проехав через всю Россию. Так ли его встречали, как и в Цюрихе? В особенности, как реагировало наше правительство и руководитель государства, какое отношение было к нему со стороны государства после его возвращения? Ведь сейчас Солженицын, если не сказать, зажат, если не сказать, что его игнорируют, то, во всяком случае, стараются не замечать. Вот как раз об этом Вы нам ничего не сказали. Как вы относитесь к этому? Я считаю, что подобное отношение к такому великому писателю — это отрицательное явление для России.

Ответ. Этот возврат через Дальний Восток был замыслен с самых первых, если не дней, то, во всяком случае, месяцев его изгнания. Он решил, что не вернется через Москву. Это родилось из его глубокого убеждения, что Россия Москвой не исчерпывается. Он даже вначале думал поселиться на Аляске, чтобы именно быть ближе к русскому континенту, чтобы в случае возвращения не преодолевать препятствия пространства.

А что касается правительства, то литература не должна быть признана правительством. Это советский строй приучил, что нужно, чтобы правительство признавало писателей. Не дай Бог! Зачем? Писатели должны быть людьми свободными. Всякое признание от правительства, какое бы оно ни было, я сейчас не сужу — плохое, хорошее, какое есть (правительства мы всегда до некоторой степени заслуживаем), — писателям не на пользу. Я начал с того, что он не совсем пророк в своем отечестве. Это всегда так. Незачем правительству признавать писателей. Кто признавал Достоевского? Николай I был достаточно умен, чтобы понять, что Пушкин умнейший человек в России, но не достаточно тонок, чтобы оставить его в покое. Признавало ли правительство Толстого? Церковь его отлучила, правительство боялось. Наоборот, это показывает, что Солженицын свободный человек.

Можете ли Вы назвать Солженицына христианским писателем?

Я уже как-то сказал, что мне само именование «христианский писатель» не нравится. Разумеется, Солженицын вписывается в традицию русской литературы, которая вся, за редким исключением, пронизана евангельским откровением. У Солженицына свое, прямое отношение к Богу, к Господу, ко Христу. Обыкновенно, когда я о нем читаю лекции, то привожу отрывок из Послания апостола Павла к филиппийцам, который говорит об уничижении Господа до человеческого образа, а затем до крестной муки, для того, чтобы потом вознести человека. Вот в этот вселенский божественный закон Солженицын вписывается целиком.

Как бы Вы объяснили следующее противоречие, присущее публицистике Солженицына. Я зачитаю две его мысли: «Самая горькая участь на свете — быть русским», а вторая мысль: «Жить можно только в России». Как бы Вы прокомментировали это противоречие в его же словах?

Ну, тут некоторая самоочевидность. Солженицын действительно плоть от плоти русского народа, русской истории. В одном вступительном слове всего не скажешь, но одна из тем его творчества, она намечена в «Августе Четырнадцатого», когда начинается великая беда России,

— «Россию жалко». Насколько я его знаю, насколько это очевидно из его творчества, Солженицын страдалец за Россию. Он страдает за Россию. В этом смысле его не оторвешь от России, ну никак. Он жил в Америке как бы не в Америке, он ее не знал. Он жил в лесу, американцев не встречал. Чаще встречал койотов, чем американцев. Так что тут никакого противоречия нет. Он человек до мозга костей русский, страдающий за Россию. Русская история как-то не удалась, мы не только не сумели навести у себя порядка (что было бы еще полбеды), но мы еще совершили акт самоубийства. В этом его боль, что и объясняет некоторый его публицистический запал.

Мой вопрос о Льве Толстом. До сих пор Лев Толстой отлучен от церкви, и на его могиле до сих пор не стоит православного креста. Я бы хотел узнать лично Ваше отношение к этому отлучению.

Вопрос очень трудный. В достаточной мере Толстой сам отлучился от церкви. Искатель правды и справедливости, но в итоге ее не нашедший. Поскольку сам Толстой самоотлучился от церкви, я бы не стал его отлучать от церкви, хотя он выдавал себя за христианина, что представляло некоторую опасность, потому что его христианство было настолько приниженным, настолько рациональным, моралистическим, что оно действительно могло обманывать людей. В каком-то смысле церковь должна была предостеречь во всяком случае народ, что Толстой исповедует христианство неистинное. Но с другой стороны, поскольку церковь не была вполне свободна тогда от государства, поскольку она была сама унижена, как Достоевский говорил, в параличе, то отлучение Толстого от церкви не носило достаточно авторитетного характера, чтобы убедить людей. Это мы можем теперь через сто лет говорить, потому что имеем достаточное отстояние, чтобы судить. Думаю, правильнее было бы общее предостережение, а не формальное отлучение.

Никита Алексеевич, у многих русских писателей попытка раскрыть ад русской жизни, как, например, у Гоголя, заканчивалась безумием. Как, по Вашему мнению, Солженицын, изобразив ад русской жизни в «Архипелаге», смог этого избежать?

Очевидно, мое вступительное слово было неубедительно. В каком-то смысле Солженицын анти-Гоголь. Но Гоголь гораздо страшнее, там не только русская жизнь. Он на материале русской жизни отобразил ад вообще человека. Гоголь был исследователь ничтожества человека. Это был его страшный дар, данный ему, несомненно, Богом, но который его замучил, потому что, как известно, он же не сумел и не мог изобразить русского человека, противостоящего ничтожеству жизни. От этого он и умер. Солженицын в этом смысле совсем другого покроя, другого духовного склада. Достоевский больше мог изображать область тьмы, чем добра, но тем не менее у него они до некоторой степени уравновешены. Меня всегда удивляет, что у Солженицына есть своего рода нежелание, или внутренняя невозможность, изобразить предельное зло. Не случайно он выбрал Ивана Денисовича, не случайно он выбрал «Первый круг», а не последний, не случайно он даже не дошел до описания русской революции. Возьмем, например, описание русской революции у Блока, в «Двенадцати». Это мы все знаем наизусть. Это очень страшно. Бубновый туз на спине. Сплошная грязь и тьма. «Пальнем-ка пулей в святую Русь». Солженицын не дошел до описания русской революции. А описание того, как она наступает, оказалось, наоборот, удивительным памятником дореволюционной России. Я назвал бы «Красное колесо» памятником русскому человеку до великой беды семнадцатого года.

Сам Солженицын называет себя писателем-пророком, который знает истину.

Это невозможно, это не его слова. Где это Вы нашли?

У меня подборка изданий, посвященных году Солженицына, который был в 1990 году. В статье Аллы Латыниной она приводит такую его мысль. Правда, там сноски такой нет, поэтому... Это невозможно, да?

Непохоже, и даже невозможно. И ему вероятно, если бы он тут сидел, было бы даже неприятно, что я его называю писателем-пророком.

Его как раз многие в связи с этим упрекают, как раз в этих статьях, ему посвященных, в безумной гордыне. Но если это не так, то тогда у меня нет вопроса.

Нет, вопрос есть. Я вообще не понимаю, почему можно, почему нужно в чем-то упрекать человека, у которого столько заслуг перед своей страной и перед всем миром. И почему мы можем вообще судить о тайниках души. Что значит гордыня? Эти упреки мне совершенно непонятны. У Солженицына очень цельный, стремительный характер, некоторая безапелляционность суждений. Я не знаю в наши дни человека, который стяжал бы себе столь всемирную славу. Ему говорили, когда начиналась эта слава: «а выдержите ли Вы славу?» Я с ним попутешествовал по Франции перед его возвращением в Россию, возил его в Вандею, где был прообраз геноцида большевистской революции. Там в церквах сжигали детей вкупе с родителями в 93 году XVIII века. И я видел, как на таком большом празднике-спектакле французской истории, на котором он присутствовал, пятнадцатитысячная толпа стала его приветствовать. Мало кто из русских такого сподобился! Но что значит гордыня? Кто о ней может судить? Я не знаю, мы, может быть, тоже с вами возгордились бы, если бы нас пятнадцатитысячная толпа приветствовала. Единственное, что Солженицын точно знает, это то, что своими руками он свою жизнь не сделал бы. Это его глубокое убеждение, что над ним рука Провидения. Но это совершенно не гордыня...

Расскажите, пожалуйста, чем сейчас занимается Солженицын?

Я уже сказал, что он писатель до мозга костей. Он пишет всегда и везде, он выражает себя в письме. И хотя основные его литературные замыслы окончены, он, тем не менее, продолжает писать все время. Ему всегда кажется, что это будет последнее его произведение. Вот только что вышла «Россия в обвале»: «В последний раз я выражаюсь в публицистическом жанре». Я еще не сказал, что у Солженицына есть и четвертое призвание, измерение, а именно ученого. Такого литературного произведения, оснащенного безошибочной документацией, которая вся целиком проработана им самим — у него никаких помощников кроме жены не было, это я из близи мог наблюдать в Вермонте, где я подолгу живал. Перепахать такое количество исторических трудов, воспоминаний, рукописей, это вообще в голову не вмещается! Это нужно прожить много жизней. Вот совместить такое количество призваний это что-то почти сверхчеловеческое! И придирчивые люди, которые там его упрекают в гордыне, тоже любят его упрекать в исторических неточностях. Могли бы они быть. Но их фактически почти никогда нет. Это поразительно.

Так что Солженицын работает всегда. Ему, можно об этом жалеть, чужды всякие чаепития, застолья, вообще пустое (а может быть, даже и не всегда пустое) времяпрепровождение. Он — подвижник труда. Он трудится весь день, и трудится даже не обязательно с определенной целью, трудится, потому что иначе не может, потому что в этом выражается его долг перед Россией. Сейчас он, например, дает волю чтению. У него не было времени читать ни на войне, ни в ГУЛаге, ни тогда, когда нужно было написать. У нас даже в эмиграции были такие голоса, что этого не может быть: каждый год по роману — это пишут шарашки по заказу КГБ. Было такое. Еще до того, как я узнал Солженицына, я на эти фантазмы отвечал. Сейчас же он много читает. Но он никогда не читает не подчеркивая, не комментируя письменно. Сейчас выходят в «Новом мире» его такие систематические «Заметки читателя». Это не то, чтобы было

сверхгениально или блестяще, но выражает процесс обработки материала.

Кроме того ему восемьдесят лет. Солженицын, как бы сказать, перешел в иное измерение... Всякий гений противоречив. Он очень вовлечен в сегодняшний день, но, с другой стороны, взгляд его все больше и больше обращен «горе».

Какие произведения Солженицына лично Вам наиболее близки?

Вы знаете, мне невероятно помогли жить, и не мне одному, и «Иван Денисович», и «Матренин двор», и «Раковый корпус». Я знаю людей во Франции, которые переродились после чтения «Ракового корпуса». А когда я с Александром Исаевичем говорил на днях, он сказал, что получил много писем от раковых больных, которым «Раковый корпус» помог выжить.

Ну, «Архипелаг ГУЛаг», там некоторые страницы бессмертны. Например, те четыре главы (я их переводил на французский язык) во втором томе, в которых он рассказывает о духовном опыте прохождения через умирание и о своем обращении к Богу. Начало «Архипелага» тоже удивительное по какой-то тревожной красоте описания Севера, Соловецкого архипелага.

Замечательны страницы увертюры «Августа». Вообще я больше люблю концовки солженицынских произведений, но вот в «Архипелаге» и в «Августе» замечательны первые страницы. «Красное колесо» содержит в себе десять или двадцать книг, которые всякий более расчетливый писатель издал бы отдельно. Он сделал это только для «Ленина в Цюрихе», это собрание тех глав о Ленине, которые рассыпаны в «Красном колесе». Это классика. Недавно вышел отдельный перевод на венгерский язык. Или главы о Николае Втором, которого Солженицын вначале не хотел описывать. Я даже предлагал ему издать их отдельно. А в «Марте» замечательны главы о революции, об уличных боях, захватывающие дух, и т.д., и т.д. Знаете, такое огромное творчество. И даже в одном из последних произведений, в рассказе «Эго» о Тамбовском восстании, многие страницы достойны войти в любую антологию русской прозы. У Солженицына страшное разнообразие жанров. В лагерях он сочинял в стихах, потому что писать было нельзя, ни карандаша, ни бумаги у него в лагерях не было. Эта его поэма, она, кажется, насчитывает 8 тысяч строк, скоро выйдет. В лагере он сочинил пьесу «Пир победителей», тоже в стихах, чтобы запомнить.

Это пьеса замечательная. Я ее видел в постановке Московского театра. Это молодая пьеса зэка, написанная в голове, наизусть, без бумаги, в достаточной мере пророческая. Уже тогда ему открылись такие правда и истина, что удивляешься.

В этом огромном творчестве столько превосходных страниц, что все не перечислишь.

Где напечатаны Ваши статьи, исследования о Солженицыне, в какой стране? Есть ли они у нас в России?

О Солженицыне я писал почти всегда по-русски, по-французски у меня только довольно короткие статьи, газетные. Я написал несколько этюдов о Солженицыне в журнале, который редактирую, «Вестник Русского Христианского Движения». Они почти все целиком собраны в сборнике моих статей «Православие и культура» (вскоре он будет переиздан).

Многие упрекают Солженицына в антихудожественности, с одной стороны, а с другой стороны, после появления «Ивана Денисовича» появились в прессе мысли о том, что он первый ввел язык, которым только и можно было рассказать о ГУЛаге. Как бы Вы прокомментировали: действительно ли там просто язык соответствующий, или у него доминанта другая, и здесь не в стилистике дело, а в чём-то другом?

Меня всегда удивляли все эти упреки к Солженицыну. В целом ряде вопросов я с ним спорил, оспаривал некоторые его точки зрения, и не считаю его безошибочным публицистом, или всегда равным себе писателем, но вопрос, конечно, не только в языке. Мы уже говорили о разнообразии жанров: повесть, роман, драмы, киносценарии, художественные исследования, литературные мемуары. «Бодался теленок с дубом», я не упомянул, это блестящее произведение, высоко оцененное на Западе и т.д., и т.д. Затем историческое художественное исследование. Но это еще не всё, теперь есть у него и Крохотки, такие маленькие поэмы в прозе, напоминающие Тургенева, литературная критика, публицистика. Публицистика у него очень сильная. Его статьи в сборнике «Из-под глыб» — это самое блестящее, что было в русской публицистике двадцатого столетия, ну наряду с Мережковским, наряду с Буниным, с Федотовым. Это высочайшей пробы публицистика, даже если с ней не всегда соглашаешься.

Я переводил несколько его публицистических статей на французский язык. Недавно я перевел вторую часть «России в обвале». Какая там энергетика! Я сам помолодел от перевода на несколько лет, такая там энергетика. Язык у него бесподобный по энергии стиля, по богатству словаря, по взрывчатости синтаксиса. Этого уже достаточно, чтобы прослыть большим художником. Прозы такой энергии с Замятина, пожалуй, не было. У одного энергетика, у другого, наоборот, «поэзия», или та утонченность языка, как у Лермонтова, у которого фехтующая проза (это выражение самого Солженицына). Или у Гоголя — сочность, красочность, трепет и т.д. У каждого свое. Кроме того у Солженицына своеобразный, что называется на языке немного научном, хронотоп, то есть структура времени и пространства. У него (это, вероятно, от проведенного времени в тюрьме и в лагере) всегда до предела сгущенное, ограниченное время и пространство: «Один день Ивана Денисовича», несколько недель «Ракового корпуса», «Матренин двор», причем, заметьте, двор, т.е. и пространство ограничено. «Раковый корпус» — тоже пространство ограниченное. Шарашка — и пространство ограничено, и время ограничено. Там, по-моему, всего четыре дня описаны. Вот это достаточные, по-моему, художественные заслуги.

Как Солженицын оценивает сегодняшнюю ситуацию в России, и какие он видит перспективы? И второй вопрос: расскажите немножко о Христианском Студенческом Движении, в котором Вы участвовали. Существует ли это движение сейчас?

Что касается первого вопроса, надо прочесть все его публицистические опусы последних лет, начиная с «Как нам обустроить Россию», и кончая «Россией в обвале». Он находится в некотором пессимизме, в котором я его, кстати, упрекаю, ведь все его художественное творчество, наоборот, оптимистично, отчаяние ему не свойственно.

Что касается Русского Студенческого Христианского Движения, то это часть крупного явления двадцатого столетия в церковной сфере. Оно зародилось в протестантских кругах, но потом перекинулось и на православный мир. В частности, оно проявилось в эмиграции, поскольку в России оно не могло развиваться из-за преследований. Но оно также появилось и в других православных церквях, в Сирии и Ливане, где студенческое арабское движение сыграло большую роль в обновлении церкви, и в Греции. Я бы определил его как движение внутри церкви, которое старается сочетать верность традициям со свободой и с творчеством. Не просто механическое повторение традиции, а ее углубление как чего-то актуального и вечно живого.

В тридцатых годах численно это было крайне ограниченное движение. Но по своим плодам оно вписало новую страницу в историю Русской церкви, в историю русской духовности. Теперь мы имеем лишь далекое эхо от этого большого движения. Кстати, и в мировом масштабе движения молодежи несколько притушились, как в инославных конфессиях, так и в православных церквях. Ну а в эмиграции оно, естественно, просто выродилось. Оно еще существует, но оно

уже не является силой. Оно еще существует, но в ослабленном виде, в каком находится православие русского происхождения за рубежом. Но это тема отдельной лекции.

Сейчас издаются какие-либо новые произведения Солженицына?

Да, сейчас они появляются постоянно. Из его недавних удачных произведений — рассказ «Эго» о Тамбовском восстании, где противопоставляется тамбовский повстанец и маршал Жуков. Это тоже новая форма у него, двухчастные рассказы, диптихи, противопоставление двух образов. Интересно что у него форма все время обновляется. Сейчас в 9-м номере «Нового мира» печатается первая глава второго тома его литературных воспоминаний «Угодило зернышко между двух жерновов» о его пребывании на Западе, еще не оконченных. Они не имеют того накала, который есть в «Бодался теленок с дубом», где человек одним только словом борется против всемогущего государства. На Западе этой борьбы не было, но тем не менее, это тоже яркое произведение. Недавно появилась «Россия в обвале». В «Новом мире» все время печатаются его литературные очерки. Но начинать читать его нужно, конечно, с его классики, с того, что уже вошло в историю. Первый том «Архипелага ГУЛаг» поразителен по своей энергетике. Недаром мир просто встал на колени, прочтя. Вся наша французская интеллигенция стояла на коленях перед Солженицыным, он ее освободил. Кто любит более легкое чтение, пусть с первого тома перескочит прямо на третий. Он читается увлекательно, как полицейский роман, там в основном побег из ГУЛага. И как они рассказаны, прямо дух забирает!

Современное общество находится в упадке. Церковь, как отражение общества, к сожалению, тоже не на высоте. Где Вы видите в современной России те силы, которые смогли бы воскресить и Церковь, и общество?

Если я их видел бы, оно бы уж давно воскресло. Но тут вопрос не знаний, тут вопрос оптимизма, веры, надежды. Были времена, когда тоже казалось, что все гибнет и все погибнет. Но вот действительно — прочтите «Россию в обвале». Тревога Солженицына носит и антропологический характер: не изменился ли русский характер, найдутся ли люди, найдется ли достаточно творческих сил в народе, претерпевшем такое количество бед, такие кровопускания не только ГУЛага, но и последней войны?

Мне сегодня уже приходилось говорить, что и Франция находится сейчас в некотором упадке. Упадок вполне относительный, конечно, и во всяком случае не экономический, мы живем почти все зажиточно во Франции, если сравнивать с Россией. Но причина упадка Франции, может быть, в Первой мировой войне, когда Франция потеряла полтора миллиона населения, что для нее огромное число. И она до некоторой степени от этого не оправилась. Это было видно в 1940-м году, когда она не смогла оказать сопротивления немцам. Это отчасти видно и до сих пор. Поэтому здесь есть над чем тревожиться, потому что такое кровопускание, такое количество потерь, начиная с Первой мировой войны, затем гражданская война, сыпняк, голод поволжский, коллективизация, террор, опять война, и до бесконечности. Что делать, это, конечно, ослабило нацию. Поэтому говорить теперь о великодержавности трудно, такие были потери. Уж не говоря, что мы истребляли самих себя, а затем, во время Второй мировой войны, не жалели своих тоже. Как американцы расчетливо своих жалели в этой войне, выигранной в основном русской кровью. Так что тут есть над чем тревожиться, но опять-таки, кто знает? «В Россию можно только верить...»

Из объявления, в котором извещалось о Вашем приезде, явствовало, что темой Ваших работ была церковь советского периода. Есть ли по этому поводу какие-то публикации и статьи? Это многим было бы интересно.

В основном, я двуязычен. Я все-таки француз, не нужно слишком обманываться, и пишу столько же по-французски, сколько по-русски. И в основном свои работы по истории Русской церкви, в частности о советском периоде, я писал на французском языке. Есть и русские статьи в «Вестнике», но не так подробно. Моя книга «Христиане в СССР» несколько устарела теперь, она написана в 1963 году. Она была тут «органами» переведена, и где-то покоится в недрах Московской патриархии в русском переводе. Я даже знаю, что патриарх Алексей I был ей скорей доволен, такой до меня доходил слух. С тех пор я писал на французском языке еще не раз, особенно в связи с Тысячелетием Крещения Руси и с возрождением Церкви в 1990 году, с тем, что можно было бы назвать вторым крещением.

Сергей Аверинцев: «...Мы и забыли, что такие люди бывают»

Церковная жизнь

Слова, вынесенные в заглавие, взяты из записи Лидии Чуковской от 30 октября 1962 г. В этот день Ахматова с веселым удивлением рассказывала ей о посетившем ее человеке:

«...Светоносец! Свежий, подтянутый, молодой, счастливый! Мы и забыли, что такие люди бывают...»

Кажется, уже все слова об Александре Исаевиче Солженицыне, будь-то в хвалу ему, будь-то в хулу, уже сказаны. Теперь стали просто отмахиваться готовыми словечками, притом не только порицательными, а даже хоть бы и похвальными, важно — что готовыми. Мол, ага, знаем-знаем. Все слова сказаны, все формулы известны. Сегодня труднее всего, но и нужнее всего — попробовать вернуться к той свежести первого впечатления, которое так осязаемо в озадаченности Ахматовой.

Пусть послужит для этого предлогом хотя бы 80-й день рождения.

Есть какая-то провиденциальная эстетическая сообразность в том, что день рождения этого человека приходится на самое темное время в году: день съезжился дальше некуда, от стужи дух захватывает, из всех красок осталось только черное и белое, белизна снега и чернота мрака, — но каждая проходящая, отмечаемая тиканьем часов секунда явственно приближает солнцеворот. В жилах это чувствует кровь, в стволе дерева, наверное, чувствует по-своему сок. Время, движущееся к свету Рождества, становится осязуемым.

Когда же ему было еще родиться, как не в такие дни?

Еще раз вспомним: как это говорила Ахматова? Очень неожиданное, намеренно неожиданное слово — «счастливый». Оно выбрано круто наоборот и наперекор обстоятельствам биографии, да и вообще всему, что лежит на поверхности. Что оно рисует? Наверное, тот тип бодрости, который только и может быть у фронтовика, у лагерника — бодрость экстренных ситуаций, вспыхивающая именно от острого, катастрофически-напряженного чувства времени. И мне вспоминается, как я первый раз услышал голос Солженицына по радио. Солгу, если не сознаюсь, что тогда был скорее озадачен, чуть ли не отпугнут: чем? Да стремительностью угадывавшегося за ней музыкального темпа — не столько темпа речи, сколько темпа души: presto, prestissimo. Для нас, воспитавшихся в отталкивании от призрака ложной бодрости официоза, для нашей интеллигентской привязанности к отрешенным мыслительным созерцаниям и к темпам более созерцательным — это все не очень легко. С другой стороны,

как же не вспомнить, что во времена, лучше, чем наше, знавшие толк в различии типов и призваний, именно такой психологический склад — война, «кшатрия», — почитался жизненно необходимым?

Трудно не вспомнить, как солженицынский Самсонов, опять-таки «кшатрий», непроизвольно медитирует над немецким идиоматическим оборотом «*höchste Zeit*»: «будто время могло быть пиком, и на этом пике миг один, чтобы спастись». Острые пика времени, концентрация всего на этом острие — вот самая суть солженицынской философии времени. Об этом хорошо писал в своей монографии о писателе женевский русист Жорж Нива. Христианин не может не подумать о том, что вера учит нас чувствовать всякое время как «*höchste Zeit*». Но, конечно, у Солженицына это качество переживания времени имеет очень конкретные обертоны, связанные с его «воинской» психологией.

Да ведь и чисто литературно Солженицын сильнее всего тогда, когда он выступает как, условно говоря, «баталист» — в весьма расширенном понимании этого слова: когда он изображает действия и события сугубо динамические, непредсказуемый исход которых решается от секунды к секунде. Таково в особенности — лагерное восстание. Таковы беззвучные поединки глаз, как у полковника Яконова и Сологодина. «Инженер-инженер! Как ты мог?!» — пытал взгляд полковника. Но и глаза Сологодина слепили блеском: «Арестант-арестант! Ты все забыл!» Таковы шумные поединки политиков во взрывчатом публичном контексте думского заседания или митинга. Таковы неблагоприятные хэппенинги на улицах революционного Петрограда. Таковы же мемуарные эпизоды хроники поединка писателя с властью. Но таковы, разумеется, и сцены батальные в самом обычном смысле, какие мы встречаем в «Августе Четырнадцатого» и далее. (Я не разделяю распространенной точки зрения, согласно которой позднее творчество Солженицына как целое ниже раннего, взятого опять-таки как целое; мне представляется важнее преимущество динамических сцен над статическими, которое, как я нахожу, налично и тут, и там.)

И стилистика тем убедительнее и ярче, чем непосредственнее она вытекает из «батализма».

«...В их охороненные палаты, хоромы, райкомы — вступил мертвяк Архипелаг, без рукавиц, в обуви ЧТЗ» (Сквозь чад, Париж, 1979, с. 60), — да таких неистовых плясок ритмической прозы под резкое звяканье созвучий в русской литературе не было со времен Андрея Белого.

* * *

Слишком понятно, что в те времена, к которым относятся наиболее драматические перипетии единоборства писателя с советским режимом и советской идеологией, читатель, если уж принимал сторону Солженицына, склонен был искать в нем авторитет прямо-таки абсолютный, никак не меньше; оборотной стороной этой неизбежной безудержности был ожесточенный тон, в который слишком часто впадали тогдашние оппоненты Солженицына внутри т.н. диссидентства. Ныне страсти подостыли, но подостыла и заинтересованность, время на дворе — забывчивое. (Уж если так легко позабылось, кто вчера с немногими единомышленниками защищал веру, а кто радел о проведении в жизнь начальственных указаний по борьбе за дело атеизма, уж если юбилей Комсомола, если мы не ослышались, сопровождался богослужением, словно ничего, ну ничего никогда не было, что там говорить...). Однако оправданий для забывчивости не будет никогда, жизнь сохраняет в себе все равно только тот, кто не разрешает себе забывать. В том числе и того, чем все мы обязаны Александру Исаевичу Солженицыну. Что значил не для любителей словесности, а для все страны выход того одиннадцатого новомирского номера тридцать шесть лет назад. И его решительного стояния за ценности веры, неприятного не только глашатаям официозного безбожия минувших лет, но — почему бы не сказать этого? — и крепчающему по всему свету «тренду» нетерпимого секуляризма, забывать

тоже не след.

На смену всем эксцессам самоотождествляющегося преклонения и самодовольной неуважительности, равно смахивающим на суждения эгоцентрического подростка о старших, должно придти немечтательное, трезвое, остро заинтересованное внимание именно к своеобразности всего облика писателя. Именно к тому, чем он не похож ни на одного из нас. И к тому, чего никто из нас за него не скажет и не сделает.

: К 80-летию со дня рождения Александра Солженицына

Церковная жизнь

К 80-летию со дня рождения А.И. Солженицына

Многоуважаемый Александр Исаевич!

Поздравляю Вас с 80-летним юбилеем. Молитвенно желаю Вам светлого и бодрого духа, а значит и той творческой силы, которая всегда являлась единственным мерилем талантов от Бога. Ваш голос слышала Россия, Европа и Америка. Дай Бог, чтобы голос почтенного старца сподобилась услышать и наша церковь, традиционно почитающая старчество.

С искренним почтением, любовью во Христе и надеждой

проректор Свято-Филаретовской Московской высшей православно-христианской школы,

зам. главного редактора журнала

«Православная община» свящ. Георгий Кочетков

11.12.1998 г.

Архиепископ Сан-Францисский Иоанн (Шаховской): Диалог с церковной Россией

Церковная жизнь

Церковная Жизнь

Мы продолжаем разговор о проблеме свободы в церкви, начатый в 45 и 46 номерах нашего журнала. Напомним, что в докладе о. Александра Шмемана «Авторитет и свобода в Церкви» (см. «Православная община» № 46, сс. 108–122) речь уже шла о известном письме (21.11.1965) двух московских священников — оо. Николая Эшлимана и Глеба Якунина, обличавшем действительное положение церкви в тогдашнем СССР, и о тех прещениях, которым они подверглись со стороны патриарха Алексия (Симанского), считавшего, что если это не будет сделано, то последствия для Русской церкви будут еще худшими. Однако понимая всю сложность положения церкви в советском государстве, о. Александр тем не менее утверждал, что в действительности подлинные причины гонений на оо. Николая и Глеба лежат гораздо глубже, нежели «непреодолимое» давление внешней власти. Уже сам факт, что церковь, к

которой обращены слова «где Дух Господень, там свобода», попала в столь рабскую зависимость от государства, свидетельствует о серьезной внутренней болезни.

В этом номере мы предлагаем вашему вниманию ряд документов, последний из которых написан 13 мая 1967 г., ровно накануне произнесения о. Александром своего доклада, и вызванных на свет теми же событиями. Это переписка архиепископа Сан-Францисского Иоанна (Шаховского) с одним московским протоиереем по поводу статьи Анатолия Эммануиловича Левитина, уже непосредственно касавшейся письма Эшлимана и Якунина.

Мы надеемся, что знакомство с этими очень живыми свидетельствами эпохи может послужить и хорошей иллюстрацией к уже опубликованным в «Православной общине» материалам о. Александра Шмемана и Николая Бердяева, содержащим анализ данной проблемы, и дать вдумчивому читателю возможность самому разобраться в том, где искать корни многих проблем современной церковной жизни.

В середине апреля 1967 года я получил из Москвы, от неизвестного мне протоиерея о. А. письмо*. Содержание этого письма, имеющее принципиальное значение, я опубликовываю, как и свой ответ.

О. А. представляет если не всех московских пастырей, то несомненно ту часть их, которая отмежевывается от двух московских пастырей Н. Эшлимана и Г. Якунина, подвергшихся недавно церковному прещению за свои обращения к властям церковным и светским. О. А. отмежевывается и от А. Э. Левитина-Краснова, автора талантливых апологетических трудов, попавших за границу и нами опубликованных. Московский протоиерей даже особенно нападает на этого мирянина-апологета.

Мы видим духовную тяжбу московской иерархии с рядом пастырей и верующих в Советском Союзе. Большая свобода выражения мыслей, обозначившаяся в СССР после развенчания «культы личности», продолжает действовать. В своем предисловии к изданной за рубежом первой апологетической книге статей А. Левитина-Краснова («Защита веры») я отмечал, что верующие люди пишут в редакции советских газет и обращаются к гражданским инстанциям и своим иерархам. Они защищают справедливость, выявляют веру, критикуют, кого считают нужным, требуя улучшения в том или другом отношении.

Сейчас Россия находится в периоде полу-легализированной свободы подпольного слова. Будучи далекой от желания давать церковным оппозиционерам место на страницах своей гражданской официальной и даже церковной печати, государственная власть Советского Союза старается не препятствовать людям огорчаться, волноваться и возмущаться по их собственному усмотрению, и даже протестовать в определенной форме, не подрывающей, конечно, общего авторитета гражданской власти. Эта протестующая и критикующая литература, как в общественных и литературных делах, так и в церковных, несомненно допускается как некий клапан для не находящих себе выхода паров человеческого свободного мнения... До церковного зарубежья доходят, время от времени, такого рода документы из СССР.

Минимум «общественного мнения», после развенчания культа личности в СССР, допускается; но, конечно, никто еще не может претендовать на собственное открытое мнение в области политической — иметь другое убеждение, чем государственная власть и партия, по поводу, скажем Вьетнама, Мао Цзэдуна, «американского империализма», однопартийной системы и Карла Маркса. Свободное обсуждение в печати таких вопросов остается в Советском Союзе

по-прежнему невозможным.

До последнего времени «Совет по делам Русской Церкви» (ныне «Совет по делам религий») при Совете министров СССР считал свой авторитет внутри страны неуязвимым со стороны верующих. Но теперь ему не только перестают подчиняться верующие граждане и церковные иерархи — этот специальный правительственный орган становится иногда и объектом открытой критики в церковных кругах. В этом зачаточном, но уже реальном пробуждении церковно-общественного сознания в Советском Союзе, нет, конечно, вреда для Церкви; а в сущности, нет тут вреда и для самого гражданского аппарата в СССР.

Не обязательно же государству всегда себя отождествлять со всеми своими столоначальниками, их действиями, перегибами и загибами.

В среде Русской Церкви появляется неконформистское суждение об административных методах и поступках «Отдела по делам религий». Я уверен, что в какой-то мере сам «Отдел» это учитывает. Иерархия Московской Патриархии, за исключением единиц, безоговорочно защищает все действия не только своего Центра, но и того гражданского «Отдела», без которого жизнь Церкви в СССР сейчас практически была бы невозможна. Легально, законопослушно, но открыто протестующие пастыри московские оо. Эшлиман и Якунин обвинены своей же церковной властью не только в непослушании церковном, но и в клевете на гражданскую власть. В отповеди оо. Н. Эшлиману и Г. Якунину со стороны Московской Патриархии наиболее трагическими строками являются не строки, говорящие о наложении церковного прещения на этих пастырей, но те строки, где вклинивается в уста иерархические политическое обвинение своих пастырей.

Пастыри выступили против злоупотреблений, о которых иерархия не решалась говорить, они выступили в защиту правды и достоинства Церкви. И архипастыри (которые в истории нередко защищали своих клириков и мирян, даже явно виновных перед гражданскими властями) сами тут обвиняют своих клириков, т. е. чад духовных, в политической нелояльности к правительству страны, хотя эти клирики не правительственную власть обвиняли, а лишь чиновничье злоупотребление ею. И они не были обвинены гражданской властью. Этот факт показывает всю трагичность жизни Русской Церкви в наши дни.

По письму московского пастыря о. А. видно, что он не молод. Как и многие русские пастыри его поколения он, может быть, провел какие-то годы в ссылке или лагере. По своему церковному стилю он человек консервативный. Его аргументы (ссылки на преп. Симеона Столпника и еп. Игнатия Брянчанинова, учителя строгой аскетике иноческой прошлого века) показывают, что он плоть от плоти привычного русским людям консервативного благочестия. К сожалению, в прошлом такой консерватизм легко уживался в церковной жизни и с оппортунизмом в отношении властей мира сего. Пастыри и архипастыри в истории долго и молчаливо терпели (со ссылками на Священное Писание и на смирение) неприятный звон «обер-прокурорских шпор», которые, по выражению консервативнейшего русского иерарха 19-го века, митрополита Филарета Московского, «цеплялись» — даже за его — «архиерейскую мантию».

Мой ответ московскому пастырю затрагивает ряд религиозных проблем... О. А. думает, что путь, избранный им и его церковными единомышленниками, — единственно возможный в церковной жизни. И другое выражение православной веры будто бы несовместимо с богопреданностью и с упованием на то, что «Сам Господь и Его Пречистая Мать в силах защитить Свою Церковь»... Тут именно пункт нашего с ним разномыслия... Пастырь московский не видит всех возможностей веры и активности верующих граждан своей страны. Он не видит всех выражений веры в мире.

Но даже в светском произведении «Борис Годунов» открывается им не замечаемая реальность духовная, такое, им словно не признаваемое, общественное выражение богопреданной души: юродивый говорит в ответ на просьбу царя о молитве: «Нельзя молиться за царя Ирода». Почему? Аргумент: «Богородица не велит»!.. Богородица и Матерь Света не велит ему молиться за его царя. И велит даже об этом открыто сказать пред всем народом... Что же это такое? Бунт, отсутствие лояльности к своей гражданской власти? Или пророческое, драгоценное, исповедническое вразумление этой власти?..

В Православной Церкви право говорить правду царям и всем людям принадлежит не только высшей церковной власти. Это послушание всякого верующего (особенно тогда, когда «народ безмолвствует»).

Православная Церковь, отвергая «папизм», отвергает этим безоговорочное, слепое послушание церковной власти. И мы видим в наши дни, как сама Католическая Церковь осознает вред крайностей клерикализма. Для чего же нам, православным людям, после такого огромного опыта веры, какой нам был дан в веках и особенно за последнее столетие, следовать чисто-легалистическому, отвлеченному пониманию «послушания» и «смирения»? Не будем ограничивать высоких и святых понятий послушания и смирения в Христовой Церкви!

В рассуждениях о. А., конечно, есть доля святой истины. И ошибка его только в том, что эту долю истины он считает полнотой истины и свое понимание «послушания» — единственно возможным выражением веры в Церковь. Послушание не посрамит, конечно, верующего, если будет выражением его чистой надежды на Господа. При таком максимализме может быть правда и в человеческом молчании. Но не в нем одном правда веры.

Я расхожусь с о. А., и думаю, читателю это ясно, не в признании ценности послушания и смирения в Церкви, а в том, что, как я убежден, всю церковную действительность нельзя сводить к одному «послушанию» и к той форме смирения, которой придерживается о. А.

История Церкви об этом свидетельствует, и слово Божие об этом говорит, что не в пассивном только, но и в активном, деятельно-героическом смирении надо служить Богу... И конечно, «должно повиноваться больше Богу, нежели человекам» (Деян 5: 29). Тут основа нашей православной соборности. Послушание Церкви есть верность Истине.

Соборная жизнь Церкви в Советском Союзе находится в особом состоянии. Это всякий видит. «Отделение Церкви от государства» в СССР фиктивно. Церковь остается частью государства. Да и как оно иначе может обстоять в стране, в которой ничего вообще нельзя «отделить» от государства. Как бы ни называли положение верующих людей в таком абсолютном, себя обожествляющем государстве, где у Церкви нет перед законом ни правового лица, ни своего имущества, дело от этого не меняется. Государство и партия, правящая государством, диктуют свою волю Церкви там, где хотят. Права судебной или общественной защиты у Церкви нет.

Мы не судьи Русской Церкви, ни ее архипастырям и пастырям. Среди своих собственных неверностей и духовных «теплохладностей» мы любим наших православных братьев... И любим всех их, спорящих ныне друг с другом о лучшем выражении св. веры.

Но пока общие условия жизни верующих людей в Советском Союзе не дают им возможностей иметь свою свободную церковную печать и на открытых собраниях церковных обсуждать и решать волнующие их вопросы, — до тех пор, естественно, зарубежная печать остается единственной возможностью — хотя бы частичного — отражения путей и трудностей Русской Церкви.

13 мая 1967

* * *

Ваше Высокопреосвященство, Милостивый Владыко!

Настоящее послание пишет Вам рядовой священник Русской Православной церкви, пребывающий в своем сане от юности — 46 лет.

Позвольте мне сказать Вам несколько правдивых, хотя и горьких для Вас слов. В своем сердце я не имею ни малейшей мысли причинить Вам обиду. Пишу по долгу совести.

Случайно я ознакомился с книгой «Защита веры в СССР», что и будет предметом настоящего послания.

Кроме общего впечатления по содержанию книги, у меня самое скорбное впечатление осталось от Вашего «Предисловия», и непонятно почему Вы его написали к последующему труду.

Вы пишете: «Рукописи А. Э. Левитина, дошедшие до нас, — совершенно особый духовный мир». Вы усматриваете, что «это не только мир веры в русском народе наших дней, но и крик веры». По правде говоря, уж лучше бы он не кричал. Тогда возможно, что «уста его исповедывали» бы «во спасение» (Рим 10: 10).

Вы восторгаетесь письменами А. Э. Левитина. Его деятельность называете «героической» и «исповеднической» деятельностью. Мало того, Вы вводите его в сонм «православных апологетов».

Мы знаем имена ученых христианских апологетов. Имена их вечны в Православии. Поэтому Ваше такое заключение о Левитине более чем поражает меня и многих.

Для того, чтобы ПРАВИЛЬНО понять Левитина, нужно обладать не только собственным рвением, но и трезво дать цену всему, без всяких предвзятых мыслей, без злоумышления и коварных намерений.

Кто такой Левитин? В минуту тяжких страданий Матери Русской Православной церкви от «обновленческого» раскола, Левитин активно подвизался на стороне этого раскола. Сам о себе он пишет: «Как всем известно, я принимал активное участие в обновленческом расколе, долгие годы я наблюдал раскол, находясь в самой его сердцевине. Я, более чем кто другой, знаю, каким страшным делом является раскол» («Любовью и гневом» — Левитина).

Много лет этот «апологет» был в схизме, принимая всем сердцем весь грех обновленчества. Признавал такое «обновление», как женатый епископат, двоебрачие духовенства, самочинное суждение над Святителем Русской церкви и все прочее, что таило в себе обновленчество, и тогда не раскаивался. Канонов, о которых он так неистово «кричит» ныне, для него не существовало.

При столь воинственных взглядах, какие мы видим ныне, он тогда не возвысил голос преданности Блаженной памяти Святейшего Патриарха Тихона. Очевидно, деяния его, как и ныне, были преднамеренны и злы. Все это говорит само за себя!

О себе самом Левитин говорит: «Я никогда не был консерватором ни в политике, ни в церкви. Скорее я приближаюсь к типу бунтаря, революционера». Мне кажется, комментария тут не

требуется.

Каков облик «трудов» Левитина?

В своих, с позволения сказать, «трудах» он старается в отвратительной форме очернить Русскую Православную церковь в лице Святейшего Патриарха нашего и правящих Иерархов, предъявляет свою волю командовать и угрожает им карами Божиими. Это гордость и высокоумие!

Кто дал право Левитину выступать от имени Русской Православной церкви, от имени чад Ея — верующих людей?

Может быть, он оберегает церковь от раскола, как это заявляет: «Ни я, ни кто-либо из людей моего образа мыслей, не хотят раскола» («Любовью и гневом»)?

Однако посмотрите, что тот же Левитин, спустя лишь три месяца, по поводу осуждения Святейшего Патриарха священников Николая Эшлимана и Глеба Якунина за соблазнительные действия и о дальнейших прещениях к ним, в случае их коснения во грехе, пишет: «Мы не признаем такого разбойничьего решения». «Несомненно одно: чтобы они ни предприняли, Патриархии придется столкнуться в этом случае со многими горькими сюрпризами и убедиться в истинности старой поговорки: «Кто сеет ветер, пожнет бурю!» На миротворца Левитин не похож!

Вспоминаю слова из песнопений Страстной седмицы о Иуде предателе: «Ядяху со ученики и веселяшеса со иудеи». Именно так, ибо Левитин считает себя сыном Православной Русской церкви! И уж конечно трудно признать, что «уста» его «исповедают во спасение» (Рим 10: 10).

Вспомните, Владыко, что во все века все расколы и заблуждения человеческие имели ВНЕШНЮЮ видимость праведности, правильности и истины. Однако все Божие и Истинное сорастворяется смирением и отсечением своего ВЫСОКОУМИЯ, которое является признаком духовной ПРЕЛЕСТИ. Вспомните пример истинной праведности. Преподобный Симеон Столпник взошел на столп по особому внушению Духа Святого. Его подвиг был истинен пред Богом. Но когда Св. Отцы повелели ему сойти со столпа, он проявил немедленное послушание, чем доказал действительную Богоугодность его подвига, и губительного духа высокоумия-прелести не было в нем.

Во грехе прелести находится и этот Левитин, ныне получивший похвалу и одобрение с Вашей стороны.

Как полезно было бы ныне обратиться к дивным трудам Епископа Игнатия Брянчанинова, этого великого учителя покаяния и духовного апологета!

Левитин действует по реченному древле: «Око за око, зуб за зуб», но наш долг Архипастырей, памятуя слова Господа: «Мир имейте между собою», не производить смуту в православном народе, укреплять и без того подорванную веру в народе и иметь твердое упование, что Сам Господь и Его Пречистая Матерь в силах защитить Свою церковь и «Врата адава не одолеют ее».

ВАШЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВО! Неужели Вы не видите, что Левитин лишь лъстиво прикрывается маской искания мира, в самом же деле все его письма насыщены злобой, хулой и коварством и отдают сектантским духом?

Как можно верить душу и совесть такому типу, как Левитин, который однажды с легкостью и

убежденно уже изменял Матери церкви?

Обновленцы, как Вам должно быть известно, больше всех пресмыкались перед властями, за что и получили в народе прозвище «красных». Русский народ отступил от обновленцев, их храмы были пусты. Но и это не внушило ему и малой мысли о раскаянии в своем заблуждении. Как можно говорить о нем словами Св. Ап. Павла: «Сердце верует в праведность, уста же исповедают во спасение»?

ВЛАДЫКО! Мы не лишены собственной наблюдательности, не лишены и доверия верующих людей. С уверенностью можно утверждать, что на стороне Левитина находятся те немногие, кто впал в грех высокоумия и прелести, да еще злопыхатели, склонные к осуждению и склочничеству, и многие из них уже «раскусили» сущность деяний Левитина. Милостивый Владыко Иоанн! Ваша поддержка Левитина, поддержка авторитетная со стороны Архипастыря, чего он особенно домогается в своих «подвигах», ведет к брожению умов, нарушению единомыслия, подрыву доверия паствы к пастырям, подталкиванию «младенцев в вере» к тяжкому соблазну, к расколу, к уклонению людей в сектантство. «Горе человеку, им же соблазн в мир приходит»!

Наши храмы заполнены народом. Архиерейские и тем более служение нашего Святителя приносят верующим истинный праздник. Повседневнo удовлетворяются все духовные нужды верующих людей. Нам этого никто не запрещает и ничто не препятствует. Великим множеством приходят верующие люди с покаянием. Вам, Владыко, сердцу Вашему ведомо, сколь благодатно обновление души через это Таинство.

Левитин далек от покаяния. В своем высокоумии он остается в духе злопыхательства!

На взгляд тех, кто ознакомился с Вашим печатным трудом, Вам не следовало бы возносить имя Левитина, как «великого защитника» и еще «апологета» веры и церкви.

Его писанина просто возмутительна, так как она косвенно играет на руку врагам нашей веры, ведет к раздиранию «Нешвенного Хитона» Христова, к расколу. Видимо этого ищет мятежный дух Левитина.

Вы, Владыко, видимо, того не оценивая, льете воду на мельницу наших противников, даете в руки оружие для клеветы и тенденциозной критики всяким сектантам, инославным исповедываниям, противникам Православия.

Вот это горькое слово, с вздыханием моей огорченной души, приношу Вам, Владыко, вооружаясь бесстрашием и упованием на помощь Божию. В остальном судит Бог!

31 марта 1967 г.

Протоиерей А...

* * *

17-ое апреля 1967 года

Всечестнейший отец протоиерей,

Благодарю Вас за Ваше письмо. Все, что приходит с родины моей, и особенно касается родной Православной Церкви, мне особенно ценно.

Я внимательно прочел Ваши строки, и позвольте сказать Вам, что отношусь с полным уважением к ним и к Вашим убеждениям. Я верю, что они диктуются Вашей любовью к Церкви. Но в своем письме Вы не убедили меня, что Левитин не любит Господа и Церкви Его. То, что он был одно время, в молодости, у обновленцев, тоже не аргумент против него и его веры в наши дни, так как чрез обновленчество, как чрез корь духовную (не распознав сей болезни) прошло в Советском Союзе, вы сами знаете, немало пастырей и даже архипастырей Русской Церкви. Вам должно быть известно, что сам Святейший Сергей, Патриарх Московский и всея Руси, исключительный человек по уму и много сделавший для Церкви, был сам одно время увлечен этим печальным явлением духов темной политической демагогии, рядившихся в одежды светлые.

В Нью-Йоркском «Новом журнале» (толстый зарубежный журнал, русский, основанный четверть века тому назад проф. М. М. Карповичем) печатается, с конца прошлого года, большое, интересное и экклезиологически-значительное историческое исследование о движении обновленчества в Советском Союзе. И авторов этого труда, того же А. Левитина и соавтора его В. Шаврова, я совершенно не вижу в чем можно было бы упрекнуть с точки зрения церковной. Это умное, церковное, чисто-православного духа исследование.

Если Вам, многоуважаемый о. протоиерей, было чуждо увлечение «живоцерковностью» и «обновленчеством», то Вы знаете, не всем вполне лояльным ныне пастырям Русской Церкви наших дней оно было в такой же мере чуждо. Это я пишу к тому, что Ваше воспоминание прошлых жизненных ошибок Левитина не имеет, как аргумент, большой силы. В таинстве покаяния, мы верим, Господь до конца изглаживает наши человеческие ошибки и грехи. А «История церковного раскола», которая сейчас, как я сказал, печатается за рубежом, и одним из авторов которой является А. Э. Левитин, показывает ясно, что никаких экклезиологически-живоцерковных микробов у Левитина в настоящее время нет (я думаю даже, что этот его и Шаврова труд мог бы послужить хорошим пособием для современных русских семинарий, духовных академий и пастырей).

Те рукописные труды Левитина, которые просочились (какими путями, не знаю) за границу, были опубликованы и еще публикуются в Европе и в Америке, не дают нам права сомневаться в искренности и в православности Левитина... Учтите еще и то, что в печатном, официально-издаваемом религиозном материале, который к нам доходит из Советского Союза, мы, в сущности, не видим настоящей апологетики, ответов современным антирелигиозникам, защиты святой веры на современном языке. Нам, конечно, ясна причина этого явления. Мы никого тут не упрекаем. И вот, писания Левитина, на фоне весьма бледных, с точки зрения апологетической, доходящих до нас религиозных материалов Церкви, производят впечатление свежести, искренности ума и сердца... Несомненно, Господь дал Левитину талант ревнования о правде Божьей. Сравнить же его писания с писаниями святителя Игнатия Брянчанинова, или его послушание с послушанием Симеона Столпника, совсем нельзя. Церковь Божия велика, она есть большой Божий Сад и вмещает в себя разные цветы и растения, людей разных характеров, талантов и неодинакового стиля. В этом Ковчеге Спасения даже не все одинаково чисты. Было бы ошибкой всех мерить одной меркой. То была ошибка старых времен всех церковных людей — подгонять под одну мерку благочестия и православия государственного стиля. В консисториях сидели чиновники в рясах и без ряс и только свой стиль называли «смирением»... На самом деле евангельское и святоотеческое смирение есть состояние очень глубокое, творческое и разностороннее... Мы знаем, что мученики не соглашались даже видимость ладана бросить на жертвенник культа обожествленной государственной власти и в своих мнимых дерзостях, попирая «демонов немощные дерзости», были гораздо более смиренны (и послушны Господу), чем те, кто пытался свои компромиссные жесты измены вере оправдать смирением. Мудрость и сила истинного смирения не так проста, как нам иногда

кажется, дорогой отец протоиерей. Увы, старый синодальный режим отравил подсознание и сознание нашего смиренного духовенства ложным смирением пред сильными мира сего. Если Церковь Христова сейчас, действительно, отделена от государства в СССР и верующие свободны исповедовать Господа своего, то это прекрасно; но я боюсь, что Св. Церковь Русская еще не освобождена от железных государственных объятий. Во всяком случае, ценна открытая дискуссия людей на эту тему веры, ради выяснения истины. Диалектика тут может помочь. Да будет дано пастырям русским учить людей правде Господней невозбранно. Тогда им легче будет и авторитетно исправлять какие-либо ошибки или словесные крайности таких «кустарей-одинок» апологетики, как Левитин.

Каждый случай в жизни и Церкви индивидуален, всякая ситуация духовная особенна; в жизни духовной нет трафарета... Левитина я лично не знаю и никогда от него ничего не получал, даже окольно. Но, беря его писания в том виде, в каком они дошли до меня, я вижу в Левитине душу верующего человека, убежденного в необходимости открыто защищать веру. Мне кажется, что он искренно любит Господа и Православную Церковь, как Тело Его. И любит Русскую Церковь с ее иерархией. Я не могу, конечно, одобрить резких слов одной его статьи, о которой Вы упоминаете. Но я думаю, что он писал ее не из желания нанести обиду высокому иерарху Церкви, близящемуся к своему десятому десятку лет и все делающему, что в его силах, для Церкви. Нет, это крик обращенный к другим людям, к Церкви и к стране... Во всяком случае, я убежден, что не всегда сахарные слова бывают мерилom любви и смирения, и не всякое «обжигающее» слово есть «гордыня и самопрельщение»... Текст писателя судится общим его контекстом.

Я понимаю, что в атмосфере церковной жизни и церковно-государственных отношений, как они не только теоретически, но и практически сложились для Русской Церкви в наши дни, всякое нарушение принятого в церковной жизни «стиля» может повести к новым осложнениям, и это вызывает тревогу у строителей и хранителей установившегося *modus vivendi* отношений церковно-гражданских.

Человека, свободно говорящего то, что он считает нужным и логичным для своей веры, обычно, и во всяком обществе, считают «опасным». И римское общество и государство считало тоже «опасными» таких людей, вольных апологетов, действующих не по указам, а по интуиции и совести своей. Но и такие люди тоже — элемент нужный в церковной жизни. Писания Левитина, дошедшие до нас, ни в ком тут из людей, богословски мыслящих, не возбудили ощущения, что автор их в какой то «прелести» или — «гордыне». Более того, люди видят, что таких чистых, искренних, непосредственных и простых, добрых, без оглядки на то, «что скажет княгиня Марья Алексевна», христианских слов, опровергающих измышления антирелигиозников, наше зарубежье не часто слышит со своей родины... Неужели, отец протоиерей, Вы считаете сущими в прелести и гордыне и тех верующих мирян г. Кирова, которые вопиют к суду Церкви, обвиняя, свидетельствуя о недостойном отношении к апостольскому служению своего епархиального архиерея?.. Не говорю о других фактах церковной жизни.

Я считаю, что и миряне имеют право на беспристрастное, вне всякой политики, свое мнение о том, что в церковном отношении происходит в Советском Союзе. А Вашу заботу и тревогу я, конечно, понимаю. Власти гражданские не верующим только, но и себе самим наносят общественный урон и внутри страны и во всем мире тем, что свободу веры и совести, гарантируемую верующим конституцией, не относят к исповеданию веры и ее защите. Я надеюсь, что будет, наконец, включено это понятие открытой защиты и исповедания веры в понятие самой свободы Церкви, веры и совести русского народа. А до этого времени неизбежно будут за границей печататься опровержения идей и слов хулителей Христовой веры.

Пусть хоть где-нибудь они появляются. Нет, не против Левитина и им подобных надо нам, пастырям, дорогой отец протоиерей, сейчас направлять свои стрелы и обличения. Не этих людей надо нам обвинять «в прелести и гордыне». Если бы даже Левитин был сектант (а он не сектант по духу и разуму своему), то и тогда не против него надо было бы воевать пастырям. Сектанты, конечно, ошибаются; они дальтонины в том или ином отношении, но среди них есть и искренно верующие в Бога и во Христа-Господа. Есть лучшее направление ревности по Бозе, по которому пастырям русским следует направлять свою ревность и свое апологетическое мужество. Вы помните, что ответил Господь Своему возлюбленному ученику, который запретил некоему человеку, кто «не ходил с ними», но «именем Господним изгонял бесов» (Лк 9: 49)? Господь сказал Своему апостолу: «Не запрещайте; ибо кто не против вас, тот за вас».

Тем более братски относиться надо к тому, кто по существу все же «ходит с нами» и даже выражает «на кровлях» ту веру, которую мы иногда «шепчем лишь на ухо» своему народу (Мф 10: 27). С нас, архиереев и пастырей, должно в мире начинаться святое покаяние, о котором сказал человечеству пророк Исаия в паремии, читаемой в начале Великого Поста. Все мы призваны к особому Посту. И если наш пост слов есть святое молчание, то Постом молчания должно быть громкое слово нашей веры о правде Божьей, горящей в мире и созидающей сердца. Такое слово нужно и Америке, и русской земле, и всем. И как бы, кто бы, где бы ни благовествовал Господа нашего, будем с апостолом радоваться (Флп 1: 18).

Желающий Вам и всем пастырям-братьям всяческой крепости и силы духа во Христе Иисусе Воскресшем, Господе нашем.

Архиепископ Иоанн Сан-Францисский

1 Печатается по: «Диалог с церковной Россией», Париж, 1967 г., сс. 3–18.

2 Имеется в виду письмо мирянина Бориса Владимировича Талантова (1903–4.01.1971) патриарху Алексию I, подписанное еще 12-ю верующими Кировской епархии, о разорении религиозной жизни руками церковной администрации. Руководство РПЦ объявило письмо анонимной фальшивкой. В результате травли, развязанной в местной печати, несколько человек из подписавших письмо, не выдержав стресса, скончались, в том числе и жена Талантова — от инсульта. Сам Борис Владимирович был арестован, приговорен к 2 годам лагерей общего режима, где и скончался от тяжелой болезни. — Прим. ред.

* Он, конечно, сообщает полностью мне свое имя и фамилию и адрес, по которому послан мой ответ. Не открывая его имени, я лишь подчеркиваю, что веду диалог с ним не личный, а церковно-принципиальный.

Семен Зайденберг: Язык Церкви — возвращение к Церкви. (Размышления после конференции «Язык Церкви»)

Церковная жизнь

Название этой конференции, впервые после долгого перерыва прозвучавшее несколько лет назад в связи с очень конкретной проблемой — возможностью перевода православного богослужения на русский язык, в этой своей формулировке неожиданно сконцентрировало в

себе две главные темы мысли нашего века: тему Церкви — как важнейшую в богословии, и тему языка, находившегося в центре философского постижения. И если преодолевая секуляризм и начиная серьезный разговор о воцерковлении всего человеческого бытия, Церковь все больше и больше переживает себя как мир и дом Божий, то и язык не случайно был назван в нашем веке «домом бытия».

Однако имеет ли смысл сегодня, начиная разговор на тему «язык Церкви», вспоминать еще и о философии? Не напрасно ли в самом начале конференции в докладе епископа Серафима (Сигриста) прозвучали имена Рудольфа Отто, Серена Кьеркегора, Мартина Хайдеггера, Райнера Мария Рильке, а затем — Вильгельма фон Гумбольдта? Не излишне ли это? Разве церковь нуждается еще и в поддержке философии, чтобы заговорить о том, что ей — ближе близкого? В самом деле, не знаем ли мы, что «новые языки» в Евангелии от Марка упомянуты как второе по порядку «знамение, сопровождающее уверовавших», а «иные языки» со дня Пятидесятницы — возможно, и главный признак Церкви? Затруднение однако в том, что несмотря на эту очевидность, язык, чего нельзя с удивлением не признать, в католической традиции практически никогда не ставился в центр размышлений о Церкви, не говоря уже о том, чтобы осмысливаться именно как признак, знамение Церкви (что, естественно, породило сильное сектантское движение, пытающееся восполнить эту лагуну).

Поэтому можно снова и снова благодарить Бога за то, что, как показала конференция, дискуссия вокруг вопроса о богослужбном языке, развернувшаяся сегодня в Русской церкви, позволяет нам увидеть проблему языка Церкви гораздо глубже, чем мы привыкли думать.

В самом деле, ожесточение, возникшее несколько лет назад вокруг возможности совершения богослужения на русском языке, могло сильно удивить неподготовленного человека. И еще до сих пор, когда заходит об этом речь, становится подчас нестерпимо скучно, — ведь вопрос этот кажется давно решенным и решенным достаточно однозначно.

Прежде всего, само Евангелие говорит нам, что даже если девяносто девять овец прекрасно понимают возвышенный церковнославянский, а хоть одна потерялась и ее можно найти при помощи русского, то нужно за ней спуститься с этих, пусть даже и красивых высот (см. Мф 18: 12), пусть даже и с риском. (К сожалению, в этой связи нельзя не заметить, что проблема возможности русскоязычного богослужения, противниками которого часто становятся в церкви люди различных и даже противоположных ориентаций, еще раз подтверждает ту истину, что крест «для иудеев соблазн, а для эллинов — безумие». К тому же на сегодня ситуация реально такова, что оставить на «высотах» нужно только одну овцу, а вот спускаться-то как раз за девяносто девятью.)

Во-вторых, в Русской церкви, как было хорошо показано в докладе преподавателя Свято-Филаретовской высшей школы В.К. Котта «Проблема богослужения на Соборе РПЦ 1917/18 гг. и в последующее время», по этому вопросу существуют как многочисленные свидетельства святых, так и недвусмысленное решение Московского собора 1917–1918 гг. о возможности совершения богослужения на русском и малороссийском языках².

Казалось бы, какие могут быть еще возражения? И действительно думалось: вот-вот и злой туман рассеется. Однако этого не произошло, и через какое-то время стало приходиться тревожное ощущение, что дело тут не просто в чьей-то злой воле или невежестве, но есть здесь нечто очень глубокое, чего мы пока не видим, а значит, не имеем и права вот так просто закрыть вопрос. И ведь правда, сколько ни говорилось, что вопрос этот не догматический, а чисто пастырский, это как-то не помогает. Более того, уже становится понятно, что даже если в ближайшие десятилетия все мы безболезненно перейдем на национальные языки, как это произошло в католической церкви, то и это не избавит нас от задачи продумывания корней

этой на первый взгляд столь легкой проблемы. Если же мы пройдем мимо нее, соблазвившись кажущейся простотой ее решения, то, возможно, рискуем пройти и мимо той глубины реальности Церкви, где проблема языка и проблема самой Церкви совпадают, а значит, и ожидаемые реформы, сами по себе давно назревшие и необходимые, не принесут ожидаемого плода.

Именно поэтому конференция «Язык Церкви» изначально задумывалась не просто как разговор о тех или иных конкретных проблемах богослужебного или богословского языка, но как попытка увидеть язык Церкви как средоточие ее жизни, попытка заглянуть в те области, в которые, во многом неожиданно для нас, входит проблема перевода богослужения на русский язык.

Итак, возвратимся к тому, с чего начался первый прозвучавший на конференции доклад, — к философии. Можно предположить, что это обращение было не случайно — здесь есть одна интересная историческая параллель. Происходящее сейчас вокруг проблемы русскоязычного богослужения очень напоминает то, что происходило в перерыве между первым и вторым Вселенскими соборами в связи с догматической формулировкой о «единосущии». В самом деле, смотрите. Как и тогда, по «горячей» церковной проблеме существует весьма авторитетное соборное решение, авторитет которого к тому же усиливается еще и святостью многих, как стоявших у его истоков, так и принимавших его, но несмотря на этот факт решение не принимается сразу всей церковью, нет полной рецепции. Это понятно: есть вещи, которые нельзя принять «по послушанию» в обыденном смысле этого слова, т.е. слушаясь того, в чем не слышишь ясного голоса Истины. Когда происходит такое, нельзя сказать, что дело просто в чьей-то косности, злом умысле или антиевангельском духе, во всяком случае ясно, что проблема не только в этом.

Действительно, мы знаем теперь, что если бы не было тогда этих споров, то, возможно, не родилось бы и каппадокийское богословие, а вернее — эти споры и велись потому, что разум церкви действительно требовал объяснения, истолкования данной догматической формулировки, того выявления ее сокровенной истины, без которого она могла быть понята неправильно.

Снова могут возразить, что данная параллель весьма спорна, поскольку проблема богослужебного языка не является проблемой догматической. Верно. Но может быть проблема языка и есть в какой-то степени невидимое основание большинства догматических проблем?

Эти слова могут кого-то шокировать, но в самом деле, разве вопрос о «единосущии», если присмотреться, не был вопросом в преимущественной степени именно языка Церкви? Не потому ли это слово — гностического происхождения и сильно пахнувшее савеллианством — было столь важно для церкви, что входящие в него слова — «единое» и «сущность» — находились в центре философского языка той культуры, в которой в то время «странствовала» Церковь, и поэтому введение их в самый-самый центр христианского исповедания означало начало воцерковления культуры и всей поздне-эллинистической цивилизации? И наоборот — потерять это слово, оставить его «на откуп» языческим философам, не грозило ли потерей античного мира в целом? Другими словами, вопрос о единстве Лиц Святой Троицы неожиданно предстал вопросом о кафоличности Церкви того времени, и в догматической формулировке тогда оказалась невидимым образом присутствующей и Церковь³. И не только вопросом о кафоличности, но и вопросом о единстве Церкви. Ведь богословский подвиг каппадокийцев принес в церковь мир сразу в двух смыслах этого слова — как примирение и как вселенную.

Сразу отметим, что произошедшее тогда в церкви очень сходно с тем, как апостол Павел в послании к коринфской общине описывает проявление духовных дарований говорения на

языке и его истолкования: «Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое, или много трое, и то порознь, а один изъясняй» (1 Кор 14: 27). В самом деле, и само слово «единосущие», и те формулировки, которые принимались на всех этих «бесчисленных соборах и собориках», как назвал их А.В. Карташев, — что это, как не говорение на новых языках⁴? Но это говорение было лишено адекватного истолкования до того, как вмешались каппадокийцы. Заметим, что и численное соотношение остается сходным — говорящих языками всегда больше, чем толкующих, ведь само толкование здесь как бы подводит итог определенному этапу догматического творчества церкви, делая внятными для нее самой то неизреченное, что ищет, силой благодати Христовой, воплощения в слове.

На этом примере мы можем понять, почему апостол называет дар языков и истолкования в числе главных даров Духа (замечая, впрочем, что говорением на языках без истолкования увлекаться не стоит). Рано или поздно любой человеческий язык, которым начинает пользоваться Церковь в своем странствовании, вступая на новую географическую или культурную территорию и возвещая Евангелие, становится недостаточен для постижения и выражения Тайн Божьих (а постижение и выражение в случае любого живого языка — вещи неразрывные), ведь

«язык Церкви — это то, что Бог во Христе хочет сказать миру, человеку и человечеству. Но это то, что «не находит соответствующего масштаба ни в целом мире, ни в отдельном человеке»⁵ (доклад свящ. Георгия Кочеткова «Язык Церкви как дар Слова и плод Духа»).

Это значит, что все, что мы пытаемся говорить о «великих делах Божиих» на любом человеческом языке, неизбежно вмещает истину частично, а значит — односторонне и, следовательно, искаженно (что и произошло с Арием и вообще всеми современными ему и последующими ересиархами). Тогда церковь, столкнувшись с противопоставлением этих частичных и односторонних взглядов, и начинает сотрясаться тем раздором, который идет от вавилонского смешения и до сих пор живет в нашем языке. Ведь причина этого смешения в том, что пытались добраться до неба земными средствами, упразднив границу между землей и небом, объединив для этого человеческие усилия. Это, между прочим, серьезный аргумент именно против того утверждения, что, мол, единый церковнославянский язык — гарант единства славянских церквей и народов. Подобная единообразность вовсе не ведет к реальному единству: давно замечено, что мы хуже всего понимаем друг друга именно когда говорим на «одном» языке. Ведь фактически у каждого человека свой язык, и поэтому настоящий диалог и настоящее единство всегда трудны, внешняя же легкость как правило свидетельствует об обратном.

Единую Истину невозможно выразить, просто соединив разные точки зрения, как невозможно сделать одно Евангелие из четырех, которые по-человечески несоединимы и даже противоречивы, ведь Истина не в механической или среднеарифметической совокупности. Ведь то, что призван сказать язык Церкви,

««всему — внешнее, для мира и человека непредставимое (подлинная эсхато-логия), — может быть воистину воспринято лишь как «совсем-иное» (с. 4). То есть, как бы мы сказали, лишь как трансцендентное всему — при всей имманентности нам и нашему миру» (доклад свящ. Георгия Кочеткова).

Таким образом, призванный оставаться в мире сем и побеждать мир сей, будучи не от мира сего, вмещать невместимое, соединять несоединимое на земле, разрешать то, что в рамках истории разрешено быть не может, язык Церкви, новый язык имеет не просто жертвенную природу, как отмечалось на конференции, но и вообще природу Креста. Это значит, что он не просто новый язык, но существенным образом и всегда — иной язык, «совсем-иной», иной

всему, «для иудеев соблазн, для эллинов безумие». Чудо Пятидесятницы не в том, что апостолы стали говорить на иностранных языках, как можно понять из неточного здесь Синодального перевода. Употребленная конструкция (родительный самостоятельный) говорит, что в то время, как апостолы говорили на иных языках, каждый слышал их говорящими на его собственном языке. Таким образом, иной язык — это язык Креста, он по-разному, но для всех — иной, но потому и равно внятней всем, имеющим уши слышать, именно как родной, достигающий того видения мира и человека в Боге, которое одно преодолевает раздробленность и фрагментарность, односторонность и ограниченность видения после-вавилонского смещения, возвращая к тому началу, к той Альфе, которая одновременно есть и Омега всего. Не случайно в своем вступительном слове архиепископ Михаил (Мудьюгин) напомнил, что церковь призвана к подражанию Христу во всем, в том числе и в своем языке, а С.С. Аверинцев в связи с этим заметил, что в языке Христа совмещались оба эти свойства: с одной стороны — это был язык родной и понятный всем («и дивились словам благодати, исходящим из уст Его» (Лк 4: 22), а с другой — иной и невместимый для всех («Трудно это слово. Кто может его слушать?» (Ин 6: 60)).

О необходимости сегодня для церкви такого нового языка, как языка прежде всего иного, на конференции замечательно говорил в докладе «Язык Церкви и межконфессиональный диалог: православие и католичество» проф. о. Эрнст-Христофор Суттнер (Вена) в приложении к проблемам современного межконфессионального диалога, обращаясь как раз к опыту тех времен, когда шли споры о «единосущии». Межконфессиональный диалог требует, с его точки зрения, во-первых, нового богословского языка, отличного от всех, и нового, иного по отношению ко всем наличным конфессиональным языкам, а во-вторых — как раз того разъяснения, истолкования, которого и тогда пришлось ждать пятьдесят лет, и который, как тогда, так и теперь требует терпения и подвига.

Новый язык, на котором начинает говорить Церковь, это снова уже не просто обычный человеческий язык, которым «пользуется» Церковь, но подлинное христианское дело, неотделимое от живого Предания, область подвига и освящающее таинство веры, таинство, «веществом» которого является сам язык. Это выход за пределы языка через врата самого языка:

«Это должно быть предметом радости для верующих и посрамлением для неверия — чудо пресуществления, которое произошло со словами в христианском обиходе» (доклад С.С. Аверинцева «Язык как совместное обладание эпох и поколений»).

Понятый таким образом, язык Церкви выводит нас в ту область свободы, где только и достигается любовь, где становится возможной встреча с Богом и друг с другом, то есть сама Церковь. (О языке Церкви как о «таинстве свободы» (А.С. Хомяков) напомнил в своем докладе «Свобода как язык Церкви» Н.А. Струве.) Имеющий таинственную, т.е. жертвенную и крестную природу, он участвует в собирании и устройении Церкви и всегда связан с пролитием крови — духовно, а иногда и физически: «Язык Церкви — это продолжение Пятидесятницы и мук рождения Царства Небесного в мире сем, это само рождение нового мира из материи мира сего, т.е. это освящение мира, жизни и человека, как и имени Божьего в их синергии» (доклад свящ. Георгия Кочеткова).

То, как язык Церкви становится «продолжением Пятидесятницы», имея непосредственное отношение одновременно и к созиданию церкви, и освящению мира, мы как раз и видели на примере того, что происходило во времена первых Вселенских соборов. Действительно, «единосущие» — слово, с одной стороны, четко фиксирующее церковь как внутреннюю и закрытую реальность — как то место, где известны не раздробленные образы истины, но сама единая Истина, т.е. не зеркальные отражения-тени вещей, но «самый образ вещей». Здесь

Церковь как бы говорит, что то, что в этом мире называется «сущностью» — лишь мертвая тень той истинной сущности, иной всему и всегда новой, которая не вмещается в мир, но которая есть в Боге, и которую она, Церковь, знает. Именно поэтому такой язык четко отграничивает Церковь как ту область, где слово «единосущие» ясно различаемо от своего гностического или философского двойника. Но с другой стороны, это же самое слово и позволяет церкви обращаться к миру, и, главное, слушать и слышать мир, исцеляя его раны, видя Свет в его тьмеб. Говоря в своем докладе об этом «таинстве пресуществления слов» в языке Церкви, С.С. Аверинцев заметил, что Церковь, подобно Аврааму, не только выходит из реальности мира сего, но и хранит, сберегает (а значит — и освящает) мир в своем языке.

Но именно это и случилось когда-то в Иерусалиме в день Пятидесятницы: утверждение Церкви как внутренней реальности, имеющей четкие границы, сошествием на нее Святого Духа одновременно и открыло ее миру, дало ей возможность и слышать его боль, и нести ему Слово, и хранить его в своем языке. Это и определяет тот малозамечаемый факт, что единый дар говорения языками в Писании двоятся. Прежде всего, мы встречаем то, что случилось на Пятидесятницу: апостолы говорят на иных языках, понятных всем людям с открытым сердцем (тем, у кого оно закрыто, здесь всегда чудится действие сладкого вина). С другой стороны, это то, что происходило в общинах апостола Павла, т.е. уже непосредственно внутри церкви святых, и о чем мы уже упоминали. Человек, наделенный особым даром, говорит на непонятном языке (непонятном, в том числе, во многом и ему самому), а другой толкует. Очень важно, что это все-таки единый дар, одна сторона которого неотделима от другой.

Но как же все это отличается от современной ситуации, обрисованной в докладе Якова Кротова «Язык в жизни христианина — средство общения или средство разобщения?», когда та или иная историческая церковь часто бывает способна либо на миссию, либо на собственно богословие, когда язык церкви либо сакрализуется, либо превращается в жаргон, когда тот или иной особый язык, утверждающий самотождество общины, не открывает ее миру, но наоборот, закрывает ее для мира, а миссионерская направленность, как правило, бывает чревата потерей глубины церковной жизни и богословия, когда верующий человек мечется от индивидуализма к коллективизму, не видя выхода, когда церковь порой может только навязывать человеку свой язык как некую заданную рамку, искусственно (и часто агрессивно) накладывая ее на бытие человека, потеряв способность и свободно разговаривать на своем языке, и слышать мир. Ведь действительно, как часто человек, придя из мира в церковь, становится глух, перестает слышать жизнь мира, живую ткань бытия. Только думается, что нельзя, что мы не имеем права говорить, как это пытался делать докладчик, что дело просто в том, что церкви и общины бывают разного толка — миссионерские и не-миссионерские и т.п. Скорее это свидетельствует, что церковь во многом потеряла самое себя, потеряла свою идентичность, секуляризировалась, т.е. прежде всего отождествилась с теми формами, в которых она существует в мире сем, не смогла преодолеть после-вавилонское смешение и разделение в таинстве своего языка, перестала осознавать себя реальностью «в мире сем, но не от мира сего», постоянно раздираясь на эти по-человечески несовместимые крайности, то есть отказываясь от своего креста.

Эта трагическая разделенность языка современной церкви, свидетельствующая о потере чего-то важнейшего, сущностного, утрате евангельского понимания языка Церкви как одновременно и нового, и совсем-иного, и делают вопрос о языке Церкви столь болезненным, ведь таким образом он оказывается ни больше ни меньше как вопросом о существовании самой Церкви и о судьбе христианства:

«Каков же язык Церкви как Тела Христова и каждого христианина как живого члена этого живого тела? Этот вопрос по существу своему равнозначен вопросу: что есть собственно

христианского в Христианстве?» (доклад о. Георгия Кочеткова).

Вопрос этот непросто и сегодня актуален как, может быть, никогда ранее. Антиномичность языка Церкви — говорящего, по иудейскому присловию времен Христа, словом человеческим, но говорящего то, что никаким словом выражено быть не может, — ставит нас в очень трудное положение. Как всякое таинство не имеет достаточных внешних критериев своей действительности, так и качества подлинной новизны и инаковости языка Церкви не сохраняются просто в словах и выражениях того или иного языка (даже знаменитый «апофатизм» православного богословия может превратиться в голый и бесплодный метод, против чего предупреждал еще свт. Григорий Палама в «Триадах», утверждая при этом некую новую катафатику, превосходящую апофатику). Попытка сохранить эти качества внешним образом приводит или к фундаментализму (внешняя инаковость миру), превращающему церковь в музей, или к модернизму (внешняя новизна языка церкви), делающему ее, наоборот, похожей на офис, в то время как язык Церкви — это еще и диалог культур и поколений, в котором присутствуют различные пласты, сосуществование которых только и делает язык церкви действительно домом церковного бытия:

«... это, действительно, жилье. Это не мемориальный предмет для увековечивания памяти людей, которых уже нет в живых, но это и не пространство жизни людей, которые явились ниоткуда, безотцовщины... Попытка заговорить на языке совсем другого времени, воспроизвести язык других поколений, к которым мы, хорошо это или плохо, не принадлежим, столь же болезненна, как попытка начать <жизнь> на пустой земле, на которой никогда ничего не было. Очень важно и трудно, особенно трудно в наше время, сохранить здоровое равновесие, без экзальтации, без преувеличений» (доклад С.С. Аверинцева). «Ничто подлинное в жизни и лице, в человеке и обществе не чуждо языку Церкви и вмести́мо в нем, тем более, что он связан с вечной Божьей памятью и памятью человеческой, где он отражает все явления и события обоих миров, накапливая в себе все живые образы и ассоциативные ряды» (доклад свящ. Георгий Кочеткова).

Если говорение и истолкование как жертвенный подвиг общения и любви по дару Духа Святого прекращается, то тот или иной конкретный язык церкви либо смешивается с языком мира сего, либо превращается в корпоративный (богословский) жаргон (слово, которое так часто звучало на конференции по отношению к современному богословскому языку), либо приобретает черты сакральности.

Проблема сакральности языка, столь актуальная сегодня в нашей церкви, естественно, неоднократно поднималась на конференции, и нам еще предстоит к ней вернуться, но уже сейчас, исходя из вышесказанного, можно предположить, что смысл сакрального языка — тень святости, т.е. наглядное изображение инаковости, трансцендентности, в то время как подлинный язык Церкви — это, если можно так выразиться, сама святость. Ведь сакральный язык всегда иной только по отношению к какому-то не-сакральному языку. Подлинный же язык Церкви, будучи таинством, именно совсем-иной, поэтому у него может и не быть формальных признаков святости, формально он как раз может быть подобен любому человеческому языку. Инаковость — его внутреннее качество, не нуждающееся и, более того, часто даже не выносящее внешней формализации, неизбежно возвращающей церковь к реальности Ветхого Завета. Здесь та же разница, что между Христом и Иоанном Крестителем. Иоанн, внешне живущий самым радикальным и чрезвычайным образом не как все, — высшая точка Ветхого Завета, т.е. «тени будущих благ», в то время как Иисус, Сын Человеческий, в Котором часто нет «ни вида, ни величия», Который «ест и пьет» и про Которого говорят: «Вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам», — это и есть «самый образ вещей», ведь Свою инаковость миру Он носит в Себе как внутреннее и всегда актуальное

качество.

Так и язык Церкви — «не просто божественен, но богочеловечен», чем и отличается от любого религиозного, сакрального языка. Между тем, сейчас уже оказывается мало напоминать о трехязычной ереси. Уже даже на этой конференции приходилось слышать, что, мол, церковнославянский язык, конечно, не сакральный, но воспринимается как сакральный. Как будто это не одно и то же! (И самое удивительное, что признание этого очевидного факта, т.е. прямой и, в отличие от пресловутого «неообновленчества», непридуманной ереси, мало кого смущает!)

Означает ли это, что Русская церковь действительно впадает в ересь, или что она просто все еще живет по большей части реальностями Ветхого Завета? И возможно ли это для новозаветной церкви?

Отвечая на этот вопрос, стоит обратиться к наследию епископа Михаила (Грибановского), столетие со дня преставления которого мы вспоминали совсем недавно, 19-го августа 1998 г. Известно теперь, что у владыки Михаила, одного из самых светлых людей девятнадцатого столетия, можно найти предвосхищение большинства положительных процессов, происходивших в этом веке в нашей церкви (например, именно он вдохновил движение за восстановление патриаршества в России), поэтому есть надежда найти у него что-то и на тему языка Церкви.

К сожалению, его замечательная книга «Над Евангелием» практически никем не рассматривается как серьезный богословский труд (у нас еще, как в «Маленьком принце» Сент-Экзюпери, чтобы к тебе отнеслись всерьез, надо одеться в европейское платье. Это тоже, кстати, актуальная проблема языка Церкви). Между тем, в этой книге есть совсем короткая заметка, ставящая проблему языка Церкви как нельзя более серьезно, и сегодня имеет прямой смысл вспомнить слова этой статьи.

Прежде всего, епископ Михаил, как и во всей книге, утверждает евангельскую свободу духа и в этой области:

«Кто живет во Христе, у того все должно быть вдохновенно, все вытекает из воздействия на него Святого Духа. Такому последователю Христа не нужно мучить себя предварительными расчетами и предугадываниями, что и как в данную минуту сказать. Когда настанет минута, Дух Святой подскажет, как действовать и что сказать...»

Затем, однако, епископ Михаил напоминает и о необходимой трезвости:

«Жизнь в Церкви, и частная, и народная, должна быть жизнью во Святом Духе, в Его свободе, в Его вдохновенном озарении мысли. Все это несомненно, но все же нужно иметь в виду, что для такого вдохновения, для такой свободы во Христе должна быть известная душевная почва...

Когда Господь призывал к возрождению Своих соотечественников, когда Он указывал им путь вдохновенного руководства свыше, от Отца, Он имел пред Собой в высокой степени культурную почву... <Апостолы> подготовлены были сделаться таковыми <глашатаями, слушателями, свидетелями Святого Духа>, в их распоряжении каждый миг был полный запас мессианских мыслей, чувств и стремлений. Они мыслили библейски, библейскими образами и изречениями; их чувства были продуктом тысячелетней религиозно-исторической культуры и были не наносными, не внешними, не случайными, а глубоко древне-традиционными, пережившими тысячи испытаний и опытов, а потому ставшими их природой во всякое время, при всяких внешних обстоятельствах...

Дух Святой нисходил и на язычников, скажут. Да, но и здесь Он находил не каменистую, покрытую наносными валунами, почву... Но, однако, это не была культура, направляемая откровением Самого Бога... Потому-то в дальнейшем мы имеем дело с личными мнениями, и истолкования откровения хотя и носят в себе след влияния Святого Духа, хотя и веют вдохновением свыше, но вместе с этим привносят и нечто частное, иногда неточное, одностороннее, или даже не совсем согласное с откровением. Это — отдельные отраженные лучи, не выражающие всей чистоты и полноты света Духа Христова, а иногда затемняющие и искажающие его.

С дальнейшим распространением христианства, благодать Святого Духа падала на более и более неподготовленную природную почву. Полагаться на личное вдохновение стало все более опасным, и историческое предание понемногу заменяет живой голос Святого Духа, Который говорил так ясно в избранниках Божиих первенствующей церкви. Это требовалось самую совестью христиан, сознававших свою немощность по духу сравнительно с первыми носителями Христова возрождения. Так христианское воспитание получило исторический характер, подпало под влияние внешнего авторитета церкви. Для школы воспитания еще слабых и не установившихся внутренне народов, это было вполне законно и нормально. Закон, детоводитель во Христе, был, есть и будет и в отдельном человеке и в целых народах...

Но он не должен заменять собою все, а должен лишь воспитывать и вводить затем в жизнь Святого Духа, присущую Церкви... И это, конечно, так бы и было, если бы только церковь в ее вселенском значении была воспитательницей новых народов. Но, к сожалению, воспитание чисто церковное отступило на второй план, в него стали вноситься национальные односторонние черты и чисто внешняя государственная сила...»

Далее, сделав несколько глубоких и важных замечаний о судьбе исторической церкви в различных культурных языках, еп. Михаил переходит к проблемам церкви российской:

«Русский народ, восприняв вселенское церковное понимание из рук Византии, избег ее власти, как государства и народности, и развивался более самобытно, хотя медленно, в атмосфере церковных идеалов. Внешний авторитет Церкви, в лице ее представителей в России, не будучи чужим и неприятельски-насильственным или подавляющим по своей высшей культуре, не был так силен и влиятелен, чтоб дисциплинировать народные массы. Но сам народ, сознавая свою духовную слабость, всегда рвался установить этот авторитет и определить, ограничить им себя извне. Отсюда, с одной стороны, у нас слабость внешней церковной дисциплины, а с другой — привязанность народа к внешним традициям и установлениям, к букве и обычаям церковным, даже вопреки центральной власти, как у старообрядцев.

России предстоит воспользоваться своим, уготованным Самим Богом, положением в истории воинствующей церкви на земле. Она должна создать у себя образование, воспитание и формы жизни в строго вселенском церковном духе, во всей высоте и широте христианских идеалов; она должна возделать из себя почву, где благодать Святого Духа нашла бы все удобства, чтобы произрастить роскошный цвет Христовой жизни, свободу святого вдохновения во Христе. Но эта свобода, эта настоящая жизнь во Христе возможна лишь после продолжительной культуры в строго христианском церковном духе. Только после такой школы возможно существование новозаветного народа Божия».

Если епископ Михаил прав, то наша церковь и жила, и все еще продолжает жить в подзаконном, ветхозаветном по духу периоде своего существования — как необходимым и естественным, но преходящем этапе жизни всякой поместной церкви. Однако эти слова были написаны накануне двадцатого века, и за истекшее столетие церковь приобрела новый опыт, и уже одно то, что, может быть впервые в историческом православии, столь громко и широко

ставится вопрос языка Церкви уже не как вопрос чисто технический и пастырский, но мистический и экклезиологический, есть знамение того, что Русская церковь подошла к тому рубежу, где перед ней встает вопрос о переходе, наконец, к подлинно новозаветной, евангельской жизни, о вступлении в ту «землю обетованную», о которой пророчествовал епископ Михаил.

О наступлении же этой «новой эпохи» свидетельствовал в 20-х гг. Николай Бердяев. Он писал, что для того периода, который на наших глазах оканчивается, для церкви характерна опора на нечто внешнее, например, государственную власть или, добавили бы мы, на особый «сакральный» язык. По мысли епископа Михаила, в этом нет ничего плохого, пока дело касается подзаконного существования именно как подготовки необходимой культурной почвы для действия Духа. Но как только речь заходит о Новом Завете, приверженность Закону, приверженность внешнему, по слову апостола Павла, становится «отвержением благодати Божьей». При этом, по мысли Бердяева, не столь важно, на какое именно внешнее мы будем опираться. В этом опасность новозаветного времени, «последних времен». Если для Ветхого Завета характерно противостояние Добра и Зла, Света и Тьмы, Бога и Дьявола, то в Новом Завете дело обстоит значительно сложнее, «сатана принимает вид ангела света» и Христу противостоит антихрист. И как антихрист похож на Христа, так и язык Церкви,

«как и все подлинное, имеет своего темного двойника в лице тех и того, кто и что, прикрываясь церковными символами и знаками, живет и работает по правилам и законам мира сего. Это язык многих официальных структур, язык окриков и приказов, прещений и наказаний, язык смирения других и личной гордыни, язык стяжательства и властвования, тоталитаризма, национализма и цезарепапизма, обскурантистского фундаментализма и секуляристского модернизма, язык ненависти и страха, всякой лжи, клеветы и беззакония, отступничества и предательства Христова Духа, служения сразу многим господам, как и всем идолам и грехам» (доклад свящ. Георгия Кочеткова).

Правда, время антихриста нельзя рассматривать только с отрицательным знаком — это и время зрелости Церкви, то есть те «последние времена», «последние дни», в которые Церковь, собственно, и существует как таковая, и это, в конце концов, время победы Христа, убивающего антихриста «духом уст Своих».

Почему же церкви все-таки бывает необходим сакральный язык? Восполнением чего является здесь опора на внешнее? Что и от чего он защищает?

Служение Ветхого Завета есть «служение буквы». Апостол Павел говорит в связи с этим, что у иудеев «при чтении Закона остается неснятым покрывало», которое лежало на лице Моисея, когда он спустился с горы Синай. Другими словами, в Ветхом Завете (как и в ветхозаветные по духу времена существования церкви уже новозаветной) буква Писания — это запертая сокровищница и приверженность букве есть поэтому, вполне справедливое опасение «с водой выплеснуть и ребенка». Так, например, сохранение в церковной практике древних богослужебных чинов, буква которых давно не соответствует реальной церковной практике, можно считать только благом. Ведь во многом именно благодаря тому, что хотя в церкви уже веками крестили практически только одних только младенцев (как будто это и вправду аналог обрезания!), церковь сохранила полный чин крещения взрослых, мы можем не только знать, но и восстановить в правах ту церковную истину, что в таинство крещения входит и оглашение взрослых, состоящее из нескольких этапов и т.п. Другое дело, что настаивать теперь, что «сундук» этот должен быть закрыт во веки веков — по меньшей мере странно, ведь «если что-то скрыто, то лишь для того, чтобы открыться», и наступает время, когда этот «сундук» можно и нужно открыть.

Подобно этому устроен и сакральный язык. Только что же сберегается в «сундуке» букв и слов этого языка? Ведь если мы избавимся от сундука, то не лишимся ли мы и его содержания?

Ответом на этот вопрос, возможно лежащий и в основе многих наших проблем и споров, на конференции стал доклад владыки Серафима (Сигриста) «Слово. Безмолвие. Литургия». Он напомнил, что подлинная речь состоит не только из слов: скрытым, но реально присутствующим элементом подлинной речи является тишина, безмолвие — подлинное слово рождается в безмолвии и хранимо тишиной:

«Хасиды говорят, что Бог написал Закон черным огнем по белому огню, и что в конце концов будет открыто, что истинный Закон содержится в белом огне не меньше, чем в черном...»
«Возвешение и прославление Слова должны находить свое разрешение в Безмолвии... Для того, чтобы Безмолвие смогло стать вместилищем Откровения, оно должно обрести свою собственную реальность, а не просто быть отсутствием звука» (о. Джон Брек)».

Если следовать такому пониманию, слова сакрального языка, этот «черный огонь», скрывают, до поры до времени, «белый огонь», т.е. изначально содержащееся в нем Безмолвие, как раз и обретающее в языке Церкви собственную реальность, собственное «звучание». Что же это за безмолвие, какова его «собственная реальность» и чем оно отличается от нашего обычного, не-молитвенного молчания, которое, как отметил докладчик, в отличие от Божьего Безмолвия, исполненного Духа и Света, часто основано на осознании потери, бессилия, смерти и глубоко пронизано тьмой?

Конечно, мы знаем, что в исихазме, например, истинное безмолвие тождественно и есть другое имя созерцания (вспомним, что св. Григорий Палама, защищая «священнобезмолвствующих», защищал именно их опыт созерцания нетварного Света Славы Божьей). Эта аскетическая и мистическая традиция еще раз напоминает нам, что подлинное слово хранимо содержащимся в нем изначальным молчанием, в котором оно только и обретает свое звучание (ср., например, Прем 18: 14-15), но и само это молчание, в свою очередь, не только хранимо словом, но и достигается словом. Не сохранишь тишины и мира, просто замолчав (или промолчав), как и просто замолчав не достигнешь той созерцательной тишины, в которой только и рождается подлинное слово. Только само слово, исполняясь, может разрешиться в безмолвие, а в подлинное Безмолвие мы вступаем тогда, когда слово исполняется Словом.

Но в своем докладе епископ Серафим призывал нас взглянуть на эту проблему с новой, во многом непривычной точки зрения:

«Хотя наша христианская традиция знает множество размышлений о молчании и личной молитве (в восточной традиции это составляет сердцевину исихазма), кажется, почти ничего не написано о значении Безмолвия как вместилища для Слова в молитве литургической и особенно в служении Евхаристии, являющейся самым главным выражением нашей молитвы».

Эти слова епископа Серафима свидетельствовали, что совсем не случайно наше время евхаристического возрождения сопровождается одновременным обращением к опыту исихазма и богословию Григория Паламы: мы словно чувствуем здесь какую-то тайну, какую-то проблему и задачу, которые нам жизненно необходимо разрешить, — как будто мы призваны распространить исихастский опыт общения с Богом на наше евхаристическое общение — с Богом и друг с другом...

Какую же реальность может обрести безмолвие в Евхаристии?

В своем докладе преподаватель Свято-Филаретовской высшей школы Д. Гзгзян напомнил, что

сам человеческий язык уже основан на свободе и доверии человека, который, говоря на языке, не передает свои мысли в «чистом виде», но пропускает их через слово, т.е. нечто внешнее мысли, позволяющее ему высказываться в ту меру открытости и откровенности, в которую он хочет и считает допустимым, но и оставляет собеседнику творческую свободу в их восприятии:

«Не случайно язык называется средством общения, а не средством навязывания — и Гумбольдт не случайно поэтому назвал процесс общения языкотворчеством».

Но эта свобода, даруемая языком, в то же самое время основывается и на заложенном в языке доверии человека к человеку, поскольку свобода и творчество предполагают ответственность, ведь «пока я говорю, я заставлю чужое сознание работать», а язык позволяет человеку и просто говорить неправду, и выдавать бессмыслицу за истину. Об этих свободе и доверии, неотъемлемых от человеческого общения, заложенных во всяком естественном языке, говорило уже само название этого доклада: «Двусмысленность языка — средство скрывать и средство открывать», — через слово человек высказывает себя, но уже само высказывание в слове говорит о возможности молчания, и всякое высказывание человеком самого себя в то же самое время только подчеркивает то, что в глубине своей он остается тайной:

«Язык не только мертвый продукт, но и энергия... живая деятельность, которая преобразует поток мыслей в речевую последовательность, понятную собеседнику» (Вильгельм фон Гумбольдт). Энергия преобразования, трансляции мыслей другому человеку... — здесь видно именно благоговение перед тайной, желание ухватить то, что можно ухватить, чтобы подчеркнуть то, чего сделать нельзя».

Таким образом слово, язык, с одной стороны, избавляет людей от необходимой зависимости друг от друга, но в то же время и по-новому соединяет их в свободе, доверии и ответственности.

Здесь нельзя не заметить, что исихазм только доводит эту антиномию языка, это напряжение между откровением и тайной, словом и безмолвием, до высшей точки. Паламитский догмат о том, что Бог полностью познаваем в Своей Энергии, оставаясь в то же самое время полностью недоступным в своей Сущности, свидетельствует именно об этом: полнота высказанности, т.е. творчески-свободного доверия к другому, открывает и глубину тайны и непостижимости собеседников, открывает другого как подлинную святыню, а говоря на популярном с некоторых пор богословском языке — глубину и свободу личности.

Ведь в исихазме безмолвие-созерцание есть плод словесной молитвы и понимается здесь как исполнение слова, как точка, когда слова заканчиваются и переходят в безмолвие, когда другой полностью открыл и отдал себя⁷: через слова молитвы монах-исихаст собирает себя, или, по слову свт. Григория Паламы, «возвращает себя целиком самому себе», но только для того, чтобы, обретя себя, теперь «исступит из самого себя» навстречу Тому, Кто «тоже исступает вовне Самого Себя» в Слове, в снисхождении к человеку, и так, «весь принадлежа Богу, он видит Божью славу и созерцает Божий свет, совершенно недоступный чувственному восприятию как таковому»⁸. В этом двойном акте возвращения к себе, т.е. собирания себя, и отдачи себя, вручения себя другому, соединяются два значения понятия слова: греческий «логос» — от глагола «легейн» со значением «собирать», и библейское «слово» как повеление и личное обетование, которое всегда имеет жертвенный характер, — поэтому и исполнение слова Божьего в Его Слове, Которое, по слову Писания, являет Бога, есть отдача Богом того залога, который лежит под Его словом-обетованием: «Ибо Бог, давая обещание Аврааму, так как никем большим не мог поклясться, поклялся Самим Собой» (Евр 6: 13).

Таким образом, если мы хотим, чтобы в нашей Евхаристии «безмолвие обрело свое собственное звучание», мы должны думать о том, чтобы в ней могло реализоваться подобное личностное

общение не только с Богом, но и друг со другом. И именно здесь мы и встречаемся с проблемой сакрального языка. Да, сакральный язык затрудняет личностное общение, но он делает это не «со зла». Он оберегает человека от полноты реализации свободы и доверия именно потому, что знает, чем это грозит, какие подлинные, а не придуманные опасности осквернения и развращения таятся здесь для человека. Если же мы хотим служить Богу в Евхаристии не на сакральном, а на подлинном языке новозаветной Церкви, мы должны понять, что эта полнота свободы и доверия в церкви — Богу и друг другу — предполагает и взаимную ответственность — ответственность за хранение сокровенной тайны друг друга «не словом и языком, но делом и истиной», что предполагает общину и, в действительности, просто невозможно вне общины.

Именно к такому осознанию и подводил нас епископ Серафим:

«Евхаристия, восполняющая таинство Крещения, — это принесение нашей жизни, возвращение ее Жизни божественной. Когда мы произносим слова молитвы, мы также отдаем нашу жизнь, возвращая слово Богу (от Которого мы его получили) и вступая в молчание, которое представляет собой наше принятие смерти, отдачи нашей жизни Богу в уверенности, что Он возвратит Жизнь... И затем Бог возвращает нам жизнь, заменяя наше слово на Свое Слово и, таким образом, сущностью Литургии является обмен слова и молчания, нашего слова и нашего молчания — на Божие Слово, исходящее из Тишины, исполненной Воскресения... обмен жизни и смерти. Из этой первичной структуры Литургии вытекает, что противоречия индивидуумов, выявляющиеся когда мы говорим из нашего личного молчания (выстрел сквозь тьму), разрешается в том Слове, которое произносится из истинной Тишины, и тем самым, в Литургии создается Община, делающая возможным для нас высказывание слова из молчания. Когда мы осознаем эту глубину Тишины, из которой возникает молитва Литургии, мы постигаем также (не только в теории) «силу Воскресения Его» (Флп 3:10), составляющую ее сердцевину. По словам св. Исаака Сирина «Тишина — это таинство будущего века»».

Действительно, уже в этом веке мать Мария (Скобцова) говорила, что мистика Евхаристии, которая есть истинное Богообщение, должна быть существенно восполнена мистикой человекообщения, которое есть другая форма того же Богообщения, т.е. после-литургическим продолжением в христианском общении жертвенного служения Евхаристии, этой «милости мира, жертвы хвалы», когда человек ««приобретает то, от чего отлучил себя, вновь, в любви, в подлинном Богообщении». Биограф матери Марии прот. Сергей Гаккель, выступавший на конференции с небольшим сообщением о ней, свидетельствовал со слов людей, хорошо знавших ее лично, что мать Мария, хотя и много потрудились в области языка церкви — и языка богословия, и языка благочестия, и языка церковной публицистики, и языка христианской поэзии и живописи (этой стороне ее жизни на конференции был посвящен специальный доклад Т.В. Емельяновой «Обновление поэтического и иконографического языка в служении матери Марии»), сама прежде всего жила в области, располагающейся за пределами языка. Только эта ее область безмолвия, исихия, была, конечно, связана не с расхожими представлениями о «тихом отшельничестве», но именно с энергией, с динамичной силой, с «исступлением из себя» ради Бога и ближнего, т.е. была понята ею прямо по-паламитски (здесь стоит вспомнить, что и сам защитник «священнобезмолвствующих» отнюдь не всю жизнь прожил отшельником)!

Эту же тему в своем докладе «Язык Церкви — язык общения», посвященном изменению в современной церкви языка аскезы, развивал архим. Виктор (Мамонтов). По его мнению (а надо заметить, что это мнение особо ценно, поскольку является мнением прежде всего вполне традиционного монаха), если аскеза предыдущей эпохи была аскезой индивидуальности, «замкнутой монады, ищущей спасения» (Бердяев), — «аскезой силы, аскезой духовного богатства, аскезой трезвого расчета, аскезой достижения, аскезой зрелости», аскезой

овладения собой, то есть, говоря словами Григория Паламы, аскезой возвращения человека к себе через удаление от мира, аскетические подвиги и усиленную молитву, то теперь эта важная, но все-таки подготовительная стадия сменяется тем, ради чего она только и нужна, — «аскезой немощи, нищеты, доверия, аскезой отдачи и дара, аскезой детскости», т.е. аскезой выхода из себя навстречу другому, где человек, «идя к ближнему, отрывает себя от себя», аскезой отказа от силы ради принятия себя из рук другого, т.е. аскезой общения и, значит, общины:

«Мы должны поставить вопрос в нашей церкви (к этому давно уже подвела нас жизнь) о новой аскетике — аскетике общины. Язык этой аскетики — любовь».

Но в то же самое время эта аскеза не есть нечто чуждое и «новое» в Православии, но, возможно, именно распространение исихастского опыта личностного общения с Другим в Любви и Свободе на общение друг с другом в Церкви, понятой и раскрывающейся как община:

«В этом добровольном отказе от главной цели аскетики и от самой аскетики — вершина аскетики — любовь».

В свете этого мы можем и должны вернуться к мысли епископа Михаила (Грибановского) о необходимости культурной подготовки, т.е. школы, для «существования новозаветного народа Божия» и по-новому взглянуть на те процессы, которые происходят во взаимоотношениях языка церкви и языка мира, в частности на секуляризацию, в которой мы привыкли видеть только зло, и о необходимости преодоления которой было уже сказано в начале этой статьи. Ведь если церковь, подобно возрастающему в силе и накапливающему духовные богатства аскету, и овладевала всем богатством языков мира, освящая их и преображая их — языком власти, языком философии, языком искусства, языком межличностного общения, внося тем самым свой «цемент» в уже готовый разложиться мир, и тем самым спасла его, то только ради того, чтобы однажды «исступить из себя» и, отпустив мир на волю, самой остаться в немощи и в этой немощи возвестить вечно новую и иную, «беспольную» для мира, весть о божественной Любви, явившей Себя на Кресте и Воскресении. И если когда-то церковь, следуя примеру апостола Павла, старалась «для всех стать всем, дабы во что бы то ни стало спасти хотя бы некоторых», то теперь мы скорее призваны в первую очередь «не знать ничего, кроме Христа, и притом распятого». (Не случайно церковь сейчас так пристально обращается именно к проблеме языка — ведь хотя эта проблема, как мы отмечали в самом начале статьи, и воспринимается в нашем веке прежде всего как философская, она не вносит в Церковь что-то внешнее и дотоле неизвестное ей, как это было в начале Константиновской эпохи со словом «единосущее», но, как мы видим, наоборот, неожиданно возвращает ее, на исходе этой самой эпохи, к самой себе.)

Возможно, именно к этому осознанию нас подводила конференция:

«Язык Церкви — это язык Логоса, необычного, «имеющего силу убеждать и побеждать» (с. 3), это язык Божией Любви и Божией Славы; это язык подлинного Христианства. В нем находит себя сама эта Любовь через Веру и Надежду как наша высшая методологическая точка отсчета. Но эта «искомая методологическая точка отсчета является одновременно подлинным богословским *каіγος* (т.е. временем) нашего века: если подобная вещь его не тронет, то, думаю, — пишет Бальтазар, — вряд ли ему суждена встреча с подлинным Христианством в его первоначальной чистоте» (с. 6)» (доклад свящ. Георгия Кочеткова).

По словам игумена Иннокентия (Павлова) (Москва), выступившего на конференции с сообщением «Язык Церкви в свете керигматического богословия», именно в этом и заключается значение того кризиса церкви и ее богословия, который сейчас переживается во

всем мире. Ведь греческое слово «кризис» означает «суд», и это действительно Божий суд — но не в смысле осуждения: «речь идет о рассуждении, о том, чтобы оценить положение церкви с позиций неизменной божественной вести».

Распространяя мысль о Виктора об изменении языка аскезы на весь язык церкви, можно сказать, что само время говорит нам, что церковь призвана сделать то, чего не смог сделать богатый, в том числе и духовно, евангельский юноша, которого «полюбил Иисус»: «Одного тебе недостает: иди, все, что имеешь, продай и отдай нищим, и будешь иметь сокровище на небе; и приходи, следуй за Мною» (Мк 10: 21), —

«Христос как бы говорит ему: «Я не хочу ничего у тебя отнять, Я всегда только даю, и сейчас Я стою пред тобою с даром, но Я не могу его вручить тебе, потому что твои руки заняты твоим богатством»... «Но младенцами во Христе не становятся, ими рождаются...»»

И внешнее бессилие церкви в тех областях, где на протяжении истории она была столь сильна, не должно нас пугать — ведь именно это нам и обещано: «Любовь никогда не кончается. А пророчества? Они будут упразднены. Языки? Они прекратятся. Знание? Оно будет упразднено» (1 Кор 13: 8).

Возможно, с этим евангельским требованием связан и кризис современного церковного и вообще христианского искусства. Ведь надо понимать, что если, как уже отмечалось, язык Церкви «не просто божественен, но богочеловечен», то этим он отличается не только от любого собственно сакрального, религиозного языка, но также и от языков искусства и философии, которыми он часто пользуется, но с которыми, нельзя забывать, никогда не совпадает. Ведь своеобразная священность двух этих языков защищена от осквернения тем, что они принадлежат, что называется, избранным единицам по рождению, то есть всегда предполагают некий род посвященного, жреца. Но это опять-таки только образ подлинной избранности. Язык Церкви, язык избранных Богом, принадлежит всем членам Церкви — апостол Павел призывает всех христиан достигать этого языка также, как он призывает всех достигать любви: «Стремитесь к любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать... Я хочу, чтобы все вы говорили языками, но еще больше, чтобы вы пророчествовали» (1 Кор 14: 1, 5). («Как в связи с этим нам здесь не заметить, что лучше всего овладевают языком Церкви ее святые, и особенно мистики Любви, поскольку именно они более других и сами пламенели в своей жизни этой любовью» (доклад свящ. Георгия Кочеткова)). Это особая избранность, избранность всех, осуществляемая через любовь, которая, по слову апостола Павла, достигается, определяет такое свойство языка Церкви как личностность. И именно личность, возможная в церковном общении, и есть та подлинная святость, которая приходит на смену любой внешней сакральности.

Поэтому разговор о церкви как общине совершенно не случайно зашел на этой конференции, и не был просто данью тому направлению церковной жизни, по которому следует Сретенско-Преображенское братство и поддерживаемая им Свято-Филаретовская высшая школа. Ведь речь идет не просто об общине, но о католической общине, где «нет ни эллина, ни иудея, ни раба, ни свободного», куда входят люди всех национальностей, сословий, профессий, возрастов и языков. Это говорит нам, что возможно, мы присутствуем при изменении самого понятия и представления о католичности, всеобщности Церкви. Если в еще столь недавние времена церковь присутствовала в мире через освящение его языка — языка государства, искусства, брака и т.п., то теперь наоборот — культура входит в церковь, освящается и преображается в ней через личность человека, входящего в католическую общину и приносящего в жертву свои богатства ради являющейся в ней Любви. И сама Церковь присутствует в мире уже не внешним образом — через те или иные институты или культуру, но через своих членов, несущих в себе Церковь. Поэтому здесь хочется вспомнить то, что уже

говорилось по поводу предыдущей конференции: если церковь хочет преодолеть секуляризм, то она должна преодолеть его прежде всего не вовне, но в себе, то есть снова явив собой чудо Пятидесятницы — и определив свои границы, и открыв себя миру. (Как в связи с этим, слушая доклад о. Христофора Суттнера о проблемах межконфессионального общения, нельзя было не вспомнить утверждение Владимира Соловьева о том, что различия богословских языков разных конфессий восходят прежде всего не к культурным или историческим особенностям бытия той или иной церкви, но к именно к самим личностям апостолов Петра, Иоанна и Павла, и, следовательно, причины схизмы лежат не в тех или иных различиях богословского языка, но в потере личностной связи и даже просто личностного, пророческого измерения церковной жизни. Как раз на прошлогодней конференции «Живое предание» много говорилось о том, что путь к решению проблемы разделения церквей, и в частности, преодоления различий богословских языков, лежит прежде всего через восстановление личностного общения, актуализирующего пророческое измерение духовной жизни.)

Надо сказать, что утверждая необходимость культурной работы и школы для осуществления полноты церковной жизни, епископ Михаил (Грибановский) ясно представлял, куда ведет эта полнота:

«Когда Церковь, оставшаяся носителем истинного духа Христова, провозгласит на весь мир великие речи Господа о таинственном и чисто духовном значении Его Личности, сказанные Им в Капернаумской синагоге, они, как и тогда, вызовут соблазн, непонимание и ропот. Как и тогда, искатели и любители земного довольства и комфорта отхлынут от такой странной, непонятной и непрактичной Церкви, и Христос останется лишь с избранными. Как и тогда, малая, но избранная Церковь будет готовиться Господом к тому завершительному акту земного человеческого существования, который кончится победой Его над, по-видимому, совсем уж было восторжествовавшим миром тления и себялюбия. Много ли, мало ли будет избранных, мы не знаем, но знаем, что нам не должно ничем смущаться. Все, что даст Мне Отец, ко Мне придет; и приходящего ко Мне не изгоню вон (Ин 6: 37)» (Над Евангелием, М., Сатис., 1994, с. 126).

Поэтому не случайно конференция заканчивалась докладом свящ. Иоанна Привалова ««Далекий путь» как путь по спасению», посвященным книге архимандрита Сергия (Савельева) «Далекий путь»⁹, где документально описан путь его общины, родившейся в России в 20-х гг., прошедшей через все внешние и внутренние гонения и трагедии нашего века и сохранившейся до сих пор. Доклад о. Иоанна, в котором, как нетрудно догадаться из его названия, эта книга сравнивалась с другой, очень известной книгой — «Путь ко спасению» свт. Феофана Затворника, стал как бы жизненным свидетельством и подтверждением того, о чем говорил о. Виктор (Мамонтов). Анализируя изменение в языке церкви понятия «пути», на неотрефлексированность которого в современном православии сетовал на одной из предыдущих конференций А. Кырлежев, и сравнивая две эти книги, первая из которых посвящена как раз индивидуальной аскетике, а вторая — аскетике и мистике общины, докладчик пришел к выводу, что если первая, это действительно еще только «путь ко спасению», то вторая — сам путь спасения, вне которого сейчас уже теряется перспектива духовной жизни (недаром о. Сергий, остро чувствующий, что его опыт — это новый этап единого Пути, утверждал, что уходить из общины в монастырь, т.е. возвращаться по нему вспять, — большой грех).

Об этом как раз и свидетельствовало то, что в жизни общины о. Сергия мы вновь встречаемся с подлинным языком Церкви. Действительно, у членов этой общины, пытавшихся осмыслить собственный опыт, сложился свой, очень интимный язык, но ключевыми словами в нем неожиданно оказались те слова, которыми в Писании характеризуется сам язык Церкви, как

он начал звучать на Пятидесятницу. Ведь эта новая, «Христова» жизнь в Его Церкви, которую вели и ведут члены этой общины, осознавалась ими одновременно и как иноческая, «иная жизнь» — иная миру и его стихиям, но в то же самое время, в этой своей инаковости, — и как «родная» («родная» — значит «Христова»), — сказал как-то о. Сергий).

О том, что именно этом «далеком пути» построения общинной жизни мы вновь встречаемся с подлинным языком Церкви как чудом «продолжающейся Пятидесятницы», которая, утверждая церковь как внутреннюю, закрытую реальность, имеющую свои четкие границы, одновременно (и тем самым) открывает ее миру, свидетельствовали и приведенные в докладе слова о. Сергия, не вошедшие в книгу:

«Еще я скажу тебе одну тайну. Свято любя друг друга, мы не замыкались в себе. Мы были неразрывно связаны со всеми людьми всего мира, и со всяким дыханием Божиим. Со всею природой. Со всею вселенной. Она открылась нам храмом Божиим, а человек в ней — лучшим Его созданием».

Такая внутренняя верность Богу и друг другу, и в то же самое время радостная открытость к миру и людям, сохранявшиеся у членов этой общины даже в условиях рассеяния, гонений и сталинских лагерей, как раз и свидетельствовали о том, что внутренняя святость их христианской жизни более не нуждалась ни в какой внешней защите, и в том числе — в «сакральном» церковнославянском языке, о чем неоднократно говорил и писал о. Сергий.

Доклад о. Иоанна был замечателен еще и тем, что в нем было показано, как на этом «далеком пути» общинной жизни язык Церкви начинает раскрываться практически. Он рассказал, как еще в начале своего служения обратил внимание на то, как верующие — и клирики и миряне — бывают равнодушны к чтению Апостола, чего никогда не бывает при чтении Евангелия. Почему? Обращенные прежде всего к общине, слова этих книг, действительно, как бы скрыты за неким покрывалом для индивидуалистически настроенного прихожанина (в связи с этим вспомнилось, что еще в прошлом веке было принято дарить Новый завет без Апокалипсиса — насколько страшной казалась эта, вообще говоря, радостная книга для синодальной церкви, так же страшна она для некоторой части современной церкви, «радостная весть» которой часто сводится к возвещению «Антихриста в Москве»). Наоборот, для того, кто обращается к опыту общины и начинает жить им, это покрывало снимается и значительная часть Нового завета вновь обретает плоть и кровь, а в его жизни появляется путь реального возрастания, который так часто отсутствует в приходских храмах, где человек, «обреченный на тотальную новоначалность», может из года в год исповедовать одни и те же грехи, без признаков какого-либо реального роста, а священник, в свою очередь, из года в год произносить одни и те же проповеди.

Конечно, это лишь начало этого пути. Как уже отмечалось, если «язык Церкви есть продолжение Пятидесятницы», то он ставит перед нами вопросы о церкви и сам непосредственно участвует в строительстве Церкви. И надо осознать, что даже самые простые практические вопросы о языке церкви решаются только на этом уровне. Например, тот самый вопрос, с которого все началось, — о богослужебном языке. Если мы отказываемся от «священных одежд литургического языка», то как нам избежать его осквернения? Представьте, например, что заходите вы в наш обычный храм, часто полный «захожан» и людей просто случайных или даже пришедших впервые и на пять минут, а там священник во весь голос произносит анафору св. Василия Великого по-русски: «Нас же всех, от единого Хлеба и Чаши причащающихся, соедини друг ко другу во единого Духа Святаго причастие», — но при этом это никак не выявляется, ведь и причащаются не все, а те, кто причащался, покидают храм, как правило, оставаясь в своей жизни так же далеки друг от друга, как и прежде. Не будет ли это «произнесением имени Божьего всуе», т.е. настоящей профанацией? И если мы хотим,

чтобы святые слова наших молитв не оставались праздными, т.е. не подтвержденными делами веры, хотим, чтобы они правильно воспринимались верующими и разрыв между верой и жизнью сократился, а не увеличился, мы должны задуматься о том, как нам преодолеть индивидуализм нашей духовной и церковной жизни. (Ведь пока мы используем славянский «сакральный» язык, этот разрыв, хоть и велик, но не так страшен: непонятное богослужение создает некий «молитвенный настрой», а там уже каждый молится о своем. Если же слова молитв станут для всех доступны и понятны, это будет уже не столь безопасно.) Тем, кто ревнует о понятности богослужения и его действенности, надо понять, что даже создав самый «идеальный» приход, этой проблемы не решишь: даже если в храме будут находиться сплошь постоянные и даже как-то наученные прихожане, то все равно такое богослужение поставит вопрос о реальной общине, о реальном совместном служении, иначе оно все больше и больше будет становиться профанацией (как многие в последнее время уже и убедились в этом на опыте).

Наличие же реальной общины, реального единства, неизбежно поставит и другие вопросы. Прежде всего, это вопрос о том, где евхаристическое Богообщение может быть продолжено и восполнено человекообщением, т.е. вопрос о восстановлении, например, агап. Это и вопрос о чтении Евангелия в церкви как общине, а не просто в евангельском кружке (здесь важно понять разницу — евангельский кружок — не церковь, община — уже церковь, пусть и не всегда в полноте, и в ней чтение Евангелия — это уже таинство Слова, собирающее церковь и претворяющее ее в Себя: ср. «И слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось» (Деян 6: 7)). Это и вопрос о месте догматической работы, поскольку где есть попытка реального единства и совместного служения, там неизбежно серьезное и не схоластическое обращение и к христологии, и к тринитологии, и к пневматологии, и к экклезиологии и т.д.

Это значит, на мой взгляд, прежде всего, что встает вопрос о церкви как о месте, где должны звучать иные и новые языки.

Вот уже две конкретные проблемы. Где в нашей церкви место для звучания того и другого языка? Где место проповеди неверующим? Каков должен быть ее язык? Чем он должен отличаться от языка проповеди уже непосредственно в храме?

А где место другому? В начале статьи было сказано, что происходившее в годы между двумя первыми Вселенскими соборами есть новая форма того же самого процесса. Хорошо, пусть Карташев назвал то время «самым бессоборным в истории церкви», т.к. в этих соборах участвовали только епископы, но ведь они все-таки были, эти соборы! И мы неизбежно встаем перед этой проблемой, когда задумываемся о том, как вернуть в реальную жизнь церкви догматический язык. Как будет теперь выглядеть говорение на новых языках и их истолкование? Не должно ли оно вернуться в евхаристический контекст, как это остро почувствовал о. Сергей Булгаков, читавший свои лекции по догматике сразу после литургии? Не пора ли нам наконец-то исправить историческую ошибку и вновь разделить предкрещальный Символ веры и догматику? Как это сделать?

Сейчас в некоторых поместных церквях начинает подниматься проблема лекционария. Конечно, прежде всего все смотрят на уже существующий опыт католической церкви, расширившей его цикл до двух-трех лет. Но может быть проблема глубже?

Мы любим говорить, что синоптические Евангелия были написаны не в последнюю очередь с целью катехизации. Однако начало Евангелия от Луки говорит прямо об обратном: «Рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен» (Лк 1: 3-4), т.е. катехизирован. Где же место чтения такого Евангелия?

Мы любим повторять, например, и то, что изначально Евангелие было составлено из перикоп, читавшихся в собрании за один раз. Но ведь все Евангелия имеют и свой план и свою структуру, которая при таком чтении просто не воспринимается. Каково ее место в контексте церкви?

Но если в этом случае с синоптиками еще как-то можно смириться, то многие знают, как режет по сердцу то, что делает наш лекционный с Евангелием от Иоанна, ведь это же, простите, прямое насилие над текстом!

Апокалипсис у нас в храмах вообще не читается (по Уставу он должен читаться на всенощных Великим постом, но и это было бы трудно назвать церковным чтением). Может быть, это и правильно — но где-то ведь он читаться должен! Это же ведь не просто книга для частного чтения, она, может быть, как никакая книга Писания прямо связана с Литургией!

Язык Церкви ставит перед нами и вопрос о самой Литургии, поскольку если в Церкви вновь зазвучат иные и новые языки, которые устроены, как мы знаем из посланий апостола Павла, уже не по двойческому (проповедник-слушатель), но по тройческому принципу (говорящие, толкующий и слушатели), что предполагает участие всей общины, то неизбежно должно измениться и положение предстоятельствующего на Евхаристию, а с ним — и ее форма.

Таким образом, вопрос о языке Церкви неотрывен от вопроса о самой церкви, и о каком бы конкретном языке церкви мы не говорили, мы везде сталкиваемся с этой проблемой, даже там, где не требуется никаких реформ. Например, А. Кырлежев говорил, что церковь должна войти в полный объем вселенского языка. Но ведь дело не в том, чтобы некие богословы или пастыри прочли те или иные книги. Это снова ставит перед церковью требование вновь стать католической, т.е. «имеющей отношение до всего», но для этого, для того, чтобы иметь свободу такого отношения, она должна вновь обрести собственную реальность и перестать быть секуляризованной, т.е. растворенной в этом самом «всём».

Я напомню уже даже самую простую проблему, совершенно далекую от богословия. В своем докладе «Язык Церкви и гражданская позиция христианина» А.Б. Зубов сказал, что нужно найти новый язык, язык покаяния, на котором церковь могла бы обратиться к обществу. Но при этом очень странно прозвучало, что покаяние, столь необходимое всем нам после того, что происходило и происходит в нашей стране и в нашей церкви, нужно именно общественное, но церковное покаяние не нужно. Он аргументировал это тем, что церковное покаяние, когда-то изошедшее от патриарха, не обрело достаточного резонанса в церкви и обществе именно потому, что было его личным покаянием.

Рискнем предположить, что дело не в этом. Ведь призыв к покаянию есть не только и даже не столько призыв к признанию вины и очищению, но призыв к освобождению, к свободе. Но как же может найти такие слова наша несчастная церковь, и тем более предложить их обществу, если ее собственная жизнь на всех уровнях пронизана страхом и несвободой? Как она может это сделать, если боится даже говорить своим языком, если ее собственный внутренний язык сейчас — это язык или страха и компромисса, или «чирикание» из известного анекдота, если на этом языке в подавляющем большинстве случаев говорят не только гонители, но и сами гонимые? Замечательно, что если в начале своего исторического пути церковь имела дерзновение делать центральными для своего языка слова, отсутствующие в Священном писании, то теперь церковь боится употреблять даже то, что в Писании есть! О. Виталий Боровой рассказал на конференции, как, составляя какой-то очередной официальный документ, он заплакал, поняв, что не может включить в него слова апостола Павла «чтобы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни» (Рим 6: 4), из-за того, что это непременно будет связано с обновленчеством! В такой ситуации что бы мы ни делали,

на каком бы языке ни говорили, все наши слова будут вязнуть в пустоте. Для того, чтобы язык церкви мог быть языком покаяния или любви, он прежде всего должен быть языком свободы, о чем прекрасно говорил на конференции Н.А. Струве.

Итак, перед нами действительно «далекий путь» строительства Церкви и церковной жизни, путь, который перед нами открывает ее язык. Когда думаешь всерьез о перспективах этого пути, то невольно захватывает дух. Но нельзя забывать, что церковь может и не пойти по этому пути, но может и вообще отказаться и от выбора между принятием и отвержением, исполнением и неисполнением слова. В таком случае и произойдет уже не исторически обусловленная, а своевольная и пагубная сакрализация языка, когда именно само слово, которое по неверию и страху отказываются исполнять, пытаются сделать предметом созерцания. Духовный меч как бы вешается на стенку, покрытую дорогим ковром, свет, рассеивающий тьму, гаснет, и под покровом темноты неприятель беспрепятственно входит в священный град. В подобном образом функционирующем сакральном языке повторяется вавилонское смешение. Ведь если бы Вавилонская башня была построена, то произошло бы смешение неба и земли, небо было бы взято в плен, подверглось бы, по меткому выражению поэта, «аресту земли». Но именно это и делает сакрализация языка, когда ложное благоговение перед словом как бы берет его в плен, поскольку лишает его подлинного почитания — исполнения. Слова абсолютизируются, и Богу, пребывающему в Безмолвии, отказывают в месте. Таким образом, эта дурная сакрализация языка есть своего рода идолопоклонство, кумиротворение, поскольку в его основе лежит тот же обман — вступление в область созерцания до того, как слово будет исполнено, и предмет созерцания — Истинный Бог — явится во всей Своей Славе и Свободе, подчас страшной и невместимой даже для верующих в Него.

Тогда с церковью может произойти то, о чем и предупреждал нас в своем докладе еп. Серафим, обращаясь к пророчеству Исаяи:

«Горе вам, прибавляющие дом к дому, присоединяющие поле к полю, так, что другим не остается места» (Ис 5: 8). Это может быть также сказано о словах, набегаящих друг на друга без всякого промежутка. Потому что, хотя Безмолвие остается (как мы уже сказали) за и под словами, проблема заключается в том, что в таком способе молитвы отражается наше представление, что слова сами по себе и есть вся молитва. Из этого существенного непонимания вытекает в свою очередь абсолютизация словесной формы, может быть даже литургического языка, но в любом случае отчуждение молитвенного слова. Пророк Исаяя продолжает, что те, кто приобретает собственность так, что не остается места, останутся в ужасающем одиночестве. Мы можем аллегорически, но точно сказать, что те, кто абсолютизирует форму, останутся в пустых церквях в одиночестве своего ложного абсолютизма. В то же время восстановление понимания Тишины как вместилища Слова открывает путь к освобождению от этого неправомерного абсолютизирования, подобно тому, как в догматическом богословии апофатический принцип, — сам по себе являющийся богословием тишины, — освобождает нас от ложных противоречий в нашем понимании учения».

Было бы излишне об этом говорить, если бы подобное отношение к языку Церкви сейчас не только не встречалось, но и открыто не заявляло бы о себе! Именно в последнее время в связи с вышеупомянутой проблемой перевода богослужения появился удивительный тезис о созерцании литургического слова и о церковнославянском языке как об иконе православия. Наиболее яркую и остроумную за последнее время апологию этого тезиса представил на конференции Б.А. Успенский. Самое интересное в этом тезисе то, что при его защите пользуются особым значением для православия догмата иконопочитания, как бы его

«развивая», но не замечая того, что в действительности объявлением языка — иконой этот догмат не только не развивается, но наоборот, уничтожается и даже отменяется. Ведь когда мы молимся словами — икона перед нами и есть образ того «обретшего собственную реальность» молчания-созерцания, в котором звучит наше слово. Если же сам язык объявляется иконой, то икона становится излишней. Конечно, икона не совершенна без слова, без имени изображенного, но и само слово не достигает полноты вне безмолвия-созерцания. Не понимая этого, мы рискуем незаметно превратиться из православных в мусульман или в современных иудаистов, т.е. в представителей тех авраамитских религий, которых отвержение Слова привело к гипертрофированию слов!

Таким образом, завершая эти заметки о конференции, в которых, конечно, удалось отразить только небольшую часть того, о чем явно и сокровенно говорилось на ней, можно сказать, что прежде всего она подвела нас к более полному осознанию того, почему проблема богослужебного языка, на первый взгляд не догматическая и чисто пастырская, вызывает такие ожесточенные споры, доходящие уже до печально известного «Православие или смерть». И наверное, мы должны принять эти споры именно как попытку, пусть часто неумелую и неуклюжую, отстоять истину языка как области самой истины, области, где действительно решается вопрос о бытии самой церкви, а не просто о решении одной из ее многочисленных задач, истину языка, о которой мы редко задумываемся, но которая все-таки уже начинает раскрываться перед нами.

Поэтому, хотя конференция проходила в условиях все сгущающегося мрака в церковной жизни, она вдохнула надежду и стала подлинным духовным событием. Прежде всего потому, что поставив в центр своего размышления язык Церкви, она и сама стала для многих ее участников таким отсветом Пятидесятницы, в разноголосице которого каждый мог и расслышать что-то глубоко родное и близкое ему, и увидеть перспективы иного, к которому зовет нас Дух.

Не побоимся сказать, что конференция снова явила нам язык Церкви. Спросим еще раз — что это за язык?

Истинный язык, как говорил Хайдеггер, разбивает мир как разбивают сад. Ведь он правдив, а не лжив, он не скрывает реальность, но открывает ее. Данный человеку как его инструмент в со-творении мира, сотворчестве с Богом, он помогает ему исполнить все возможности добра и красоты, заложенные Богом в дарованном ему мире. Он подобен внесенному свету: он членит мир на вещи, но и соединяет их в одну картину, единый образ, в то, что называется предложением, предложением мира — Богу и человеку, как предлагается жертва. Но имея дело с миром, язык одновременно выводит нас за его пределы, освобождает от рабства ему, зовет к новому.

Язык членит и человеческое общество — на свободных и независимых индивидуальностей, но он же, в силу изначально присущего ему потенциала свободы и доверия, соединяет их как личностей.

Язык Церкви может сделать подобное, если только мы не отступим от того пути, который он нам указывает. Он вносит свет, он выявляет различные стороны жизни церкви и мира, и, противясь всякому хаосу и смешению, отделяет их друг от друга, но он, будучи «языком красоты и порядка», и собирает их в единую картину, в единый образ. Он сообщает нам все дары, но он же и вдохновляет нас, умножив их, принести их Богу как жертву хвалы: «Твое из Твоего». Он зовет нас вперед — к новому небу и новой земле. Освобождая нас от необходимой зависимости друг от друга и от стихий мира, он зовет нас к свободному, личностному, жертвенному общению с Богом и друг с другом — в Любви. На языке Церкви мы говорим свое

«да» Богу и Церкви, выходя за пределы языка туда, где через Христа — Слово Божие начинает быть виден духовный Свет — Свет Преображения, Свет Троицы, а в нём — неизреченной Доброты и Красоты лик Небесного Отца.

Международная научно-богословская конференция «Язык Церкви» прошла в Москве с 22 по 24 сентября 1998 г. Она стала 8-й в ряду традиционных конференций, посвященных актуальным проблемам современной церковной жизни, которые ежегодно проводит Свято-Филаретовская московская высшая православно-христианская школа. В этом году вместе со Школой организаторами форума стали журнал Академии наук РФ «Русская речь», журналы «Вестник РХД» и «Континент».

В конференции, проходившей в Большом зале московского Киноцентра на Красной Пресне и открывшейся приветственным словом старейшего иерарха Русской православной церкви архиепископа Михаила (Мудьюгина), профессора Санкт-Петербургской духовной академии, приняли участие богословы, филологи, философы, историки и культурологи, клирики и миряне из 13 епархий Русской православной церкви, а также из Австрии, Белоруссии, Великобритании, Германии, Грузии, Италии, Казахстана, Кореи, Латвии, Нидерландов, Польши, Словакии, США, Украины, Финляндии и Франции. Всего участвовало более 900 человек, в том числе около 30 клириков, а также представители Отдела внешних церковных сношений и Отдела по религиозному образованию и катехизации Московской патриархии и ряда духовных учебных заведений, многих других культурных и научных организаций, а также представители церковных и светских СМИ. Всего за три дня прозвучали 30 докладов.

Издательством Свято-Филаретовской школы предполагается издать сборник материалов конференции.

2 См. об этом также его статью «Священный собор православной российской церкви 1917–18 гг. о церковно-богослужебном языке: предыстория, документы и комментарии», «Православная община», № 46, с 75–107.

3 Заметим, что это вполне соответствует Писанию — большинство тринитарных формул Нового завета включают в себя и Церковь, ср.: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога, и общение Святого Духа со всеми вами» (2 Кор 13: 13), «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, Который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши (2 Кор 1: 21–22).

4 Кстати, св. Григорий Палама так и называл истинно догматизирующих — говорящими языками (см. Триады II.3.7).

5 Здесь и далее в докладе свящ. Георгия Кочеткова цитируется работа католического богослова Ханса Урса фон Бальтазара «Достойна веры лишь Любовь», М., Истина и жизнь, 1997 г., номера страниц в скобках — ссылки на это издание.

6 Ср. «язык Церкви, будучи формо- и смыслообразующим началом в ней, ограничивает безграничное в мире сем, чтобы тьма не объяла Свет Церкви. При этом он преодолевает все границы мира сего, чтобы готовить новый путь Господу, прямыми делая стези Ему, доколе Он не придет» (доклад свящ. Георгия Кочеткова).

7 Это вполне согласно с библейской традицией, для которой, как замечено еще Оригеном, история — это слышание («Слушай, Израиль!»), а эсхатология (т.е. время Нового Завета) — видение: «И узрит всякая тварь спасение Божие» (Лк 3: 6) (и запрет изображать в Моисеевом Законе связан именно с тем, что при заключении Завета «никого не видели» (см. Втор 4: 15)).

Это понятно — слово Божие в Ветхом Завете как, прежде всего, обетование или повеление, свидетельствует о существенной неполноте настоящего, а значит, и сокрытости полноты Истины. Наоборот, видение, созерцание свидетельствует о наступлении эсхатологической полноты, исполнении слова. Израиль призван к слушанию и слышанию слова Божьего, от исполнения или неисполнения которого зависит перспектива грядущего видения Бога. И вот наступает день, когда апостол возвещает исполнение слова в Слове и наступление последних времен: «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими глазами, что мы созерцали, и руки наши осязали, — о Слове жизни, — и жизнь была явлена, и мы увидели...» (1 Ин 1: 1-2).

8 О связи слова и созерцания в исихастской традиции, о понимании в ней созерцания как исполнения слова, но уже в связи с чтением Священного писания, ср. следующее наблюдение иером. Илариона (Алфеева) в его книге «Преподобный Симеон Новый Богослов и православное Предание» (М., Крутицкое Патриаршее Подворье, 1998 г.): «... Чтение Писания становится источником мистического вдохновения. Мы можем выделить несколько ступеней, по которым, согласно Симеону, человек поднимается на высший уровень постижения Писания. На первой ступени следует читать текст Библии, обращая внимание на «слова и их сочетания», то есть пытаюсь понять буквальный смысл книги. На следующей ступени человек должен прилагать текст Писания к самому себе и исполнять написанное так, как несли бы оно было обращено к нему лично. Чем точнее соблюдается Евангелие в жизни человека, тем глубже постижение им «скрытого» смысла Писания. Наконец человеку является Сам Господь и благодатью Святого Духа через приобщение к божественному свету он становится гностиком, то есть получает полное понимание и совершенное знание мистического смысла Писания (с. 77).

9 См. Архимандрит Сергей (Савельев). «Далекий путь. История одной христианской общины». М., Даниловский благовестник, 1998 г.

: «Передайте друзьям, чтобы не удалялись...». Жизнеописание епископа Михаила (Грибановского). Составил Александр Копировский

История церкви

«Нужно жить, трудиться и стремиться к идеалам...

Нужно учиться и действовать. Дремать нечего! Отдыхать в могиле. Вперед, вперед!..»

Из записной книжки выпускника V кл. семинарии Михаила Грибановского

«Заботься о внутреннем благообразии. Оно есть полный духовный мир, проникнутый молитвенным настроением. Это — всецелое и тихо-радостное отдание себя Богу с благоговейной улыбкой на устах; это младенческое доверие Его любящему вседержительству...»

«Для меня стал неотразимо ясен мой долг — все делать по любви к человеку и Богу, к чему бы этот долг ни привел...»

Из записных книжек иеромонаха Михаила (Грибановского)

«Мы можем познавать себя — только отразивши себя. Мы можем быть счастливы, созидая счастье других. Только на других мы можем наслаждаться собою. Любовь стремится к обнаружению и наслаждается своим произведением. Отражай себя на других и переживай свое отражение. Все, прежде чем прийти к себе, должно выйти из себя».

Из записных книжек архимандрита Михаила (Грибановского)

Преосвященный Михаил, епископ Таврический и Симферопольский, в миру — Михаил Михайлович Грибановский, родился 2 ноября 1856 г. в г. Елатье Тамбовской губернии. Отец его был потомственным священником, благочинным городских церквей; мать — дочерью священника. Детей в семействе было одиннадцать, шестеро из которых умерли в возрасте от одного до двенадцати лет.

В связи с болезнью мальчика в семье не спешили с обучением его грамоте, но читать он все же научился рано. Особенно любил жития святых, часто читал их вслух матери, сестрам и няне со взаимными объяснениями.

В то время, когда Михаилу было пять-шесть лет, их дом посетил епископ Тамбовский Феофан (в будущем — Затворник). При входе в двери на балкон преосвященный зацепился клобуком за верхнюю притолоку. Клобук упал на руки маленькому Мише, который в это время находился позади владыки. Сам епископ Михаил вспоминал об этом случае как о преуказании своего монашества.

С 1866 г. Михаил учится в Тамбовском духовном училище, причем 3 года не посещает его по болезни, однако в 1872 г. поступает в Тамбовскую духовную семинарию первым по списку, преодолев все трудности, в том числе и свою болезненность. Так, для того, чтобы победить нежелательную сонливость, он ложится спать на сруб колодца; голова — на одной стенке, ноги — на другой. Чтобы выучить не дававшийся ему греческий язык, Михаил, сказавшись больным, на месяц запирается в квартире и затем отлично отвечает в классе.

В семинарии особенно любимы им словесность и чтение книг. Вот список авторов некоторых из них: Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Грибоедов, Островский, Белинский, Добролюбов, Писарев, Е. Тур, Лажечников, Некрасов, Г. Успенский; по естественным наукам — Кольб, Дарвин, Бокль, Ливингстон и др.

В своем дневнике пятнадцатилетний семинарист пишет: «...высказывай свои убеждения смело!.. Всякое доброе намерение и желание нужно сейчас же приводить в исполнение. Сила воли есть самая главная способность души, с нею можно все сделать... Делай немного, но сам... Я мало успел в управлении собой...» В другом месте на вопрос: «Какой должен быть настоящий человек?», М. Грибановский отвечает: «Не должен быть мечтателем».

К упоминавшимся ранее книгам присоединяются труды по социологии, сравнительному языкознанию, палеонтологии и т.д. Нельзя не отметить, что в этом списке книг нет ни одной, имеющей отношение к Священному писанию. Сам Владыка так вспоминал об этом: »В семинарской жизни поиски единого были главным образом теоретического свойства и выражались в шкале всевозможных отрицаний, начиная с самых грубо материалистических

(это еще в училище) и кончая самыми утонченно-пантеистическими".

Подбор выписок, сделанных к концу обучения в философском классе, показывает, что мысль Грибановского ищет выхода из того тупика, в который завела его философия. «Философия есть преддверие веры», — записывает он знаменитое изречение и неуклонно стремится к отысканию этой веры. В VI классе он усиленно занимается изучением Священного писания, укоряя себя за невежество в нем, Русской церковной историей, педагогикой и психологией.

Несмотря на тяжелую болезнь, Михаил Грибановский поступает в 1880 г. в Петербургскую духовную академию на церковно-историческое отделение.

Стремление «философски осмыслить христианство» (тема кандидатского сочинения — «Религиозно-философское мировоззрение философа Гераклита», создать христианскую философию, приводит его к мысли о необходимости для этого личного подвига на пользу ближнего во имя Христа. Он пишет: «Трудно, почти невозможно с нашей расслабленностью воли спасти свою душу одному. Постоянно падаешь и спотыкаешься. Невозможно одному устоять против течения океана суеты и низких помыслов. Нужна взаимная братская поддержка. Нужно взаимное воспитание... Нужно общество, где бы друг друга не оставляли, а возбуждали, нужно, чтобы благодать Божия ощущалась среди нас и в нас, нужно общество духовных аскетов... нужна школа беспрекословного послушания, нужна работа единственно ради Бога и спасения души.»

В 1883 г. Михаил решает принять монашество, и 14 января в академическом храме состоялся его постриг. Новопостриженному иноку оставлено прежнее имя, но с переменной небесного покровителя (в миру он был назван в честь архангела Михаила, теперь — в честь первого митрополита Киевского).

Михаил Грибановский стал в СПб академии первым за 20 последних лет монахом-студентом. Вскоре постригаются еще несколько студентов, (в т.ч. Антоний Храповицкий), и из них составляется монашеское братство, центром которого становятся ректор Академии архимандрит Антоний (Вадковский) и Михаил (Грибановский).

Именно в этом братстве Михаил Грибановский впервые высказывает идею необходимости восстановления патриаршества в России, вдохновившую энергичную деятельность в этом направлении его друга о. Антония (Храповицкого). Нельзя не отметить, что в числе студентов Академии в те годы состоял и Василий Белавин, будущий св. патриарх Тихон, который с благодарностью вспоминал это время и свидетельствовал о том влиянии, которое оказала на него монашеская «дружина», собравшаяся вокруг Михаила Грибановского.

8 мая 1884 г. иеродиакон Михаил становится иеромонахом, а затем утверждается преподавателем Основного богословия.

В 1886 г. он предпринимает поездку по святым местам (Иерусалим, Константинополь) и по монастырям России с целью навсегда остаться в одном из них. Однако епископ Феофан Затворник и старец Амвросий Оптинский не одобрили его намерения оставить Академию и посоветовали ему в миру исполнить свою миссию любви и служения людям.

Он становится инспектором академии, защищает магистерскую диссертацию на тему: «Опыт уяснения основных христианских истин естественной человеческой мыслью. Истина бытия Божия».

В 1887 г. в Академии начали устраиваться т.н. «Богословские вечера», проект которых

составил о. Михаил. Целью их было уяснение Православия для современного сознания. В том же году о. Михаил составил также проект миссионерского Братства, в осуществлении которого он видел одно из средств к проведению начал церковности в сознание и быт общества.

В 1888 г. возведен в сан архимандрита. В 1889 г. тяжелейшее воспаление легких приводит к необходимости перемены климата. Архимандрит Михаил переезжает в Крым, откуда по ходатайству бывшего обер-прокурора Синода К. Победоносцева и его супруги его переводят настоятелем посольской церкви в Афины. Но и здесь в течение двух лет болезни (брюшной тиф и инфлюэнца с легочным процессом) дважды ставили его буквально на край могилы. Вместе с тем растет желание вернуться в Россию, послужить ей. В 1894 г. архимандрит Михаил хиротонисан во епископа Прилукского, викария Полтавской епархии.

Прежде всего его деятельность проявилась в заботах об улучшении учебно-воспитательного дела в учебных заведениях епархии. При Крестовоздвиженском монастыре он создал своего рода школу проповедничества для будущих пастырей. Глубокая духовность нового архипастыря вызвала большой приток народа в храм. Но и здесь — тяжелая болезнь. Врачи констатируют начало горловой чахотки.

В конце 1895 г. владыка Михаил переведен в Крым викарием епископа Симферопольского, а с января 1897 г. становится правящим архиереем.

И здесь он всемерно способствует развитию просвещения: им открыто несколько школ, увеличено количество вечерних курсов для взрослых, основан книжный склад для продажи и бесплатной раздачи книг народу, он всячески поощряет внебогослужебные собеседования. Для ограждения от сектантства по его инициативе в епархии созданы православные приходские братства.

Слабый организм не выдержал такой нагрузки. С июня 1897 г. состояние владыки непрерывно ухудшается, к горловой чахотке присоединяется легочная. Предчувствуя скорую кончину, владыка Михаил завещал свои книги в Симферопольское духовное училище, а деньги, полученные от продажи сборника «Над Евангелием», — на приобретение и раздачу народу книг духовно-нравственного содержания.

Несмотря на тяжелое состояние, до конца июля 1898 г. всеми епархиальными делами епископ Михаил занимался сам. 6 августа по его просьбе над ним было совершено таинство Елеосвящения. После соборования владыка сказал: «Меня любили в течение всей моей жизни... Благодарю Бога моего за это! Любил и я, но подвиг любви не совершил: для меня это было удовольствием, а не подвигом, мало я сделал в благодарность за эту любовь...»

19-го августа 1898 г. владыка Михаил после причастия Святых Тайн сказал: «Сегодня умру». Затем спросил, нет ли затруднения в делах его преемника, епископа Никона. Последние слова его были: «Прошу, передайте друзьям, чтобы не удалялись...»

В надгробном слове епископ Антоний (Храповицкий) говорил: «...Так, самая вера его и решимость служить Богу не были плодом неведения, или привычки, или подражания. Напротив, исполняя слова апостола: «Все испытывайте, хорошего держитесь» (Фес 5: 21), он знал, подобно Моисею, всю премудрость мира, и, можно сказать, не было такого лжеучителя, которого бы он не изучил и не опроверг... Его вера была сознательная, сильная против неверия, его отречение от мира — основанным на глубоком понимании жизни мира...»

Между воспоминаниями обращает на себя внимание по верности характеристики почившего, по теплоте чувства, статья, принадлежащая перу лютеранина. Это статья Р.Х. Лепера под

заглавием: «Памяти преосвященного Михаила, епископа Таврического». Приводим ее буквально; ею, в виде заключения, и закончим биографический очерк.

«19-го августа скончался преосвященный Михаил, епископ Таврический, и не в одной только его епархии, а в каждом уголке России найдутся люди, которые искренно оплакивают его кончину. Каждому из нас хочется говорить и слышать о нем, соединиться с знавшими его в воспоминании о том, как все любили и чтити его. Да, покойный был не простой человек. Мы потеряли в нем не только иерарха и богослова, а истинного епископа, настоящего духовного отца: это был яркий светильник; для многих из нас с ним угасло лучшее, что мы имели в сей жизни.

За что мы любили его? За то, что около него мы становились чище и лучше. Верил он глубоко и убежденно, и вера его действовала неотразимо и на молившихся с ним в церкви, и на его собеседников. Его чудная служба в церкви, где каждое слово произносилось им ясно и внятно, с теплым чувством, глубокою верою, привлекала толпы. Беседовать же с ним, слышать его умную, искренне-убежденную речь — было истинное счастье. Он сумел, несмотря на свой высокий сан, не оттолкнуть нас от себя, даже и самых слабых в вере.

Преосвященный Михаил был доступен для всякого. Простой, обходительный, ласковый, он глядел на каждого своими кроткими, пронизательными глазами и, казалось, видел душу собеседника. Каждый находил у него доброе слово, умный совет, а близость его, общение с ним приближало душу к Богу. И не тем он действовал благотворно, что навязывал кому-нибудь веру, что желал во что бы то ни стало учить. Нет, еще сам того не сознавая, человек начинал близ него чувствовать, что самое существенное проявление веры — любовь к людям: такая уж атмосфера любви, всепрощения к людям царила около него. Говорил он просто, тихо, сердечно, и кто имел счастье беседовать с ним, тот всегда уносил в своем сердце тихое, теплое чувство: земные тревоги и заботы уходили куда-то прочь.

И тем действительнее был его пример, тем глубже западали его слова, что рядом с горячей, неотразимой верой, рядом со смирением и кротким сердцем, с живым интересом к человеку он соединял глубокий, пытливый ум и солидное образование. Несомненно, преосвященный Михаил был одним из образованнейших людей нашего времени.

Глубокий знаток Священного писания, он последние годы с любовью и усидчивым прилежанием работал над обширным трудом о синхронизме евангельских событий, который должен был явить его огромную научную эрудицию и проникнутое истинной верой понимание духа и смысла Евангелия. Установить точку зрения истинного христианина, согласную с откровением Христа, и твердо держаться ее при рассмотрении и уяснении научных вопросов и положений — это было всегдашним неуклонным стремлением почившего. Особенно интересовался он философией и углублялся в исследование самых отвлеченных вопросов. Его кандидатская диссертация написана на тему о философии Гераклита Ефесского, а в магистерской, об «Истине бытия Божия»¹, исходя из осторожного и умного разбора философских положений Канта, искусно и умело указывает и исправляет его ошибку. Но его интерес не ограничивался богословием и философией: всякое движение в любой науке, не противоречащее учению Христа, интересовало и радовало его. Классическая философия, мифология, история и археология, физика и математика, физиология, медицина, явления спиритизма и ясновидения — одинаково интересовали его. Во всем хотел он быть одинаково осведомленным. Но особенно его любовью из наук пользовалась астрономия. С какой радостью углублялся он в изучение звездного мира, с каким восторгом часами созерцал он, особенно в безлунные ночи, красоты неба.

Но и жизнь человеческая привлекала его не менее законов природы и открытий научных.

Литературу классическую и современную русскую знал он, как немногие, особенно же любил Достоевского. В литературе, как в зеркале, изучал он живого человека. Проницательный ум его, верно направленный познанием Бога, обогащенный солидными знаниями по разнообразным отраслям наук, изостренный самостоятельным философским мышлением и научною работой, всегда подсказывал ему разумное, ясное решение по многообразным жизненным вопросам.

В наше тяжелое время безверия, как нужны нам такие верующие, просвещенные люди, как они освещают нам наш темный жизненный путь! Многому научил нас, много, много любви зажег в наших сердцах этот человек! Да будет ему Царство Небесное!»

См. «Богословские труды» № 30, М., 1990 г., сс. 5-82.

Виктор Зайцев: К 100-летию со дня преставления преосвященного Михаила, епископа Таврического

История церкви

6-го августа 1898 г., в день Преображения Господня, умирающий от чахотки сорокалетний епископ Таврический Михаил (Грибановский), попросив соборования, исповеди и причастия, объявил, что через несколько дней умрет. С этого дня он каждый день причащался и умер 19-го августа.

Две эти даты, 6-го и 19-го августа — день Преображения по старому и по новому стилям, глубоко символичны в судьбе еп. Михаила Грибановского. Действительно, если его жизнь по плоти целиком принадлежала еще XIX веку, до окончания которого он так и не дожил, то духом своим и своими прозрениями он больше пребывает в том времени, когда день Преображения в Русской церкви стал праздноваться уже по новому стилю.

Он умер в том самом августе, когда родился архимандрит Таврион (Батозский), о котором мы говорили на страницах предыдущего номера нашего журнала. И думается, не случайно вышло так, что в августе этого года, когда проходил Девятый Преображенский собор нашего Сретенско-Преображенского братства, мы вспоминали именно двух этих людей, с инициативой о церковном прославлении которых наше Братство выступало уже девять лет назад. И дело не просто в том, что оба они являли собою и своей жизнью пример осуществления полноты церковной жизни, пример, который так жаждали видеть современники и который не менее необходим для нас (как говорил другой российский исповедник веры архимандрит Сергей (Савельев) (1899-1977): «Покажите мне настоящего христианина, и я пойду за ним на край света»).

Можно сказать, что два эти человека, два христианина как бы воплощают в себе две стороны церковной жизни, которые необычайно актуальны именно сегодня. И если архимандрит Таврион является одной из главных фигур так называемого евхаристического возрождения, то жизнь и труды владыки Михаила больше напоминают нам о пророческом и личностном измерении жизни Церкви, без которого, как мы сейчас все больше и больше начинаем осознавать, само это возрождение не достигает своей полноты.

Архимандрит Михаил писал: «Все дело в личности, в живой личности. Только личность спасает,

только личность можно любить, только в личность можно и верить», — и его жизнь была подтверждением этих слов. Действительно, когда читаешь его труды или историю его жизни, нельзя отделаться от мысли, что хотя прожил он всего сорок с небольшим лет, лучшая часть которых была отягощена тяжелой болезнью, и, по-человечески говоря, успел сделать не так много, огромная часть того доброго, чем жила и продолжает жить наша церковь в этом веке, оказалась как бы сосредоточенной в его личности, уже присутствовала в нем.

Так, именно епископ Михаил едва ли не первым в Российской православной церкви заговорил о «воцерковлении жизни», о церковности, как не просто внешней, но внутренней форме церковной жизни, как о всеобъемлющей, пронизывающей всю жизнь человека реальности, о таком ее направлении, «в котором видно преобразующее действие Св. Духа, присущего Церкви», предвосхищая этим ставшие известными только через тридцать лет слова преп. Серафима о цели христианской жизни. А его слова: «Христос пребывает в области свободного духа. Мы устанавливаем к Нему свои отношения лишь настолько, насколько обращаемся к Нему именно с этой силой», как и его учение о спасающей силе личности, буквально предвосхищают прозрения Николая Бердяева. Владыка Михаил писал, что только осуществив «напряженный подвиг свободы», собрав себя в единство живой свободной личности, человек может услышать Бога как живую свободную Личность. Он остро чувствовал приближение тех времен, «когда Церковь, оставшаяся носительницей истинного духа Христова, провозгласит на весь мир великие речи Господа о таинственном и чисто духовном значении Его Личности». Но его предсказание об этих временах было и грозным: «Они (эти слова) как и тогда, вызовут соблазн, непонимание и ропот. Как и тогда, искатели и любители земного довольства и комфорта отхлынут от такой странной, непонятной и непрактичной Церкви, и Христос останется лишь с избранными. Как и тогда, малая, но избранная Церковь будет готовиться Господом к тому завершительному акту земного человеческого существования, который кончится победой Его над, по-видимому, совсем уж было восторжествовавшим миром тления и себялюбия. Много ли, мало ли будет избранных, мы не знаем, но знаем, что нам не должно ничем смущаться. «Все, что даст Мне Отец, ко Мне придет; и приходящего ко Мне не изгоню вон» (Ин 6: 37)». Подумаем о том, что эти слова написаны за пять лет до «Трех разговоров» Владимира Соловьева!

Епископ Михаил стал и возродителем традиции ученого монашества, создав из молодых постриженников академии подлинно христианское братство, видя в этом волю Божию о наступающем времени жизни церкви. В то же время его интересы не исчерпывались богословием — он написал устав также и миссионерского братства и именно он вдохновил в российской церкви движение за восстановление патриаршества. Его книга «Над Евангелием», в которой, по словам столь не склонного к похвалам прот. Г. Флоровского, «так много какого-то весеннего света», была и остается примером подлинного богословия, которое есть, по слову владыки, «плод жизни», и источником вдохновения для многих и многих людей. Известно, что даже такой далекий от церкви человек как А.П. Чехов, в последние годы жизни читал ее каждую ночь и носил с собою купленную им фотографию владыки с матерью — настолько лицо владыки поразило его красотой, благородством, глубиной и человечностью.

На страницах нашего журнала мы уже обращались к наследию епископа Михаила. В самом первом его номере была опубликована речь иеромонаха Михаила «В чем состоит церковность», а позже — письма архимандрита Михаила (см. «Православная община» № 24–25), в которых чувствуется веяние того «тихого ветра», по которому мы узнаем присутствие преобразившегося на горе Христа. Сегодня, чтобы почтить память преосвященного Михаила и дать возможность нашему уважаемому читателю еще раз обратиться к вдохновляющей силе его личности, мы публикуем небольшое жизнеописание владыки, составленное ученым секретарем Свято-Филаретовской высшей школы А.М. Копировским, предварив его

небольшими цитатами из записей епископа Михаила в разные годы его жизни.

Священник Георгий Кочетков: Наследие старца Силуана в контексте современной церковной жизни

Аскетический опыт

Выступление на международной конференции «Жизнь и духовность старца Силуана», проведенной монашеской общиной Бозе (Пьемонт, Италия) 3-4 октября 1998 г.

Конференция была посвящена 60-летию со дня смерти старца Силуана (†24 сентября 1938 г.). На конференции прозвучали доклады Фери фон Лилиенфельд, Оливье Клемана, Антония Тахиаоса, еп. Диоклийского Каллиста (Уэра), митр. Пергамского Иоанна (Зизиуласса). Публикуемое сообщение завершало круглый стол, оканчивающий конференцию. Благодарю Бога за возможность посетить этот прекрасный уголок христианской земли и встретиться с этой замечательной общиной и участниками этой встречи. За пять минут мне трудно сказать что-то новое о самом старце Силуане в заключение такой значительной конференции, которая собрала крупных исследователей традиционной православной духовности, а также практикующих духовных людей из многих стран. Поэтому я скажу только несколько слов о том, как можно сейчас изнутри России, изнутри современной русской духовной жизни воспринимать такое выдающееся духовное явление как старец Силуан и его наследие. Да, с одной стороны, старец Силуан предельно традиционен. Его монашество не просто индивидуальное, но и личностное, экзистенциальное. Оно светлое, доброе и милосердное. В нем есть соль и сила, дух и свет, который светит многим. Он жалеет страждущее творение, как и всех людей. Его печаль о людях светла и в этом главная черта его подражания Христу. Отсюда и его внутренний образ Христа — печальный, крестный, кенотический, но не мрачный, а спасительный и радостный. Но с другой стороны, старец Силуан — фигура переходного периода. Церковь в его время была вынуждена расстаться с полуторатысячелетним константиновским периодом своей истории, вступая в послеконстантиновскую эпоху, как любил ее называть о. Александр Шмеман. Старец Силуан завершает классическую эпоху нового старчества, начатую святыми Паисием Величковским, Серафимом Саровским и оптинскими старцами. После него старчество продолжается, но или на уровне учеников, которые не выше учителя своего, или уже в существенно иной форме. Это заставляет нас перенестись в Россию, ибо там эти вещи видны более ярко и отчетливо. В Москве в начале XX в. прославился о. Алексей Мечев, тот самый, который был учеником св. Иоанна Кронштадтского и к которому посылали москвичей оптинские старцы, говоря им: «Зачем вам ездить в Оптину, ведь у вас есть о. Алексей Мечев». Это тот старец, который благословлял на служение в Европе высланного советской властью Н. А. Бердяева, сказав при этом ему: «Ваш голос должен услышать Запад». Он умер в 1923 г., его отпевал свт. Тихон, патриарх Московский. Но он успел оставить после себя церковную общину, построенную по принципу духовной семьи, вручив ее своему сыну, о. Сергию Мечеву, продолжившему его дело в новых условиях и погибшему в советской тюрьме в 1941 г., когда советская власть расстреливала всех осужденных по 58-й (политической) статье во время наступления немцев. Сейчас в Москве прямую духовную преемственность сохраняют только две группы людей (если иметь в виду не только преемственность иерархии, но учитывать значение преемственности всей церковной жизни, включающей и общину мирян). Обе группы людей, ничего не потерявших в течение XX в. и не прятавшихся от самих себя в страшные годы гонений, являются именно общинами, члены

которых живут как родные братья и сестры, как самые близкие люди, часто не будучи монахами и родственниками по плоти. Это — община Мечевых и община архимандрита Сергия (Савельева). Они до сих пор живут по сути так, как жили в 20-х годах. Они помогают друг другу, вместе молятся, причащаются, совершают трапезы любви (агапы) после Евхаристии, продолжают совершать таинство братотворения. Они служат Богу, людям и, главное, церкви, возрастая в любви и причастности Богу и ближним. Это — новая аскетика, новое иночество, не тождественное монашеству. Это — аскетика послеконстантиновской эпохи церковной истории. Обстоятельства российской жизни того времени требовали от духовных семей-общин в первую очередь внутреннего служения церкви, ибо они сами ощущали свою личную ответственность за все в ней, не перенося эту ответственность только на иерархию или на кого-либо другого. Вне советской России новая аскетика также ярко проявила себя, прежде всего в жизни, служении и смерти знаменитой матери Марии (Скобцовой), канонизация которой уже давно стала осознанной потребностью всего христианского мира, т.е. не только православных Вселенского и Российского патриархатов, но и многих других членов Православной, Католической и даже ряда протестантских церквей. Ее служение было обращено как бы вовне — ко всем страдающим и обремененным тяжестью обстоятельств их жизни. Это — служение Церкви миру, то же новое иночество, которое, возрождая многое забытое в традиции христианского монашества, также открывает новую страницу в истории христианской аскезы. Об этом писал Н. Бердяев, это осознано уже многими в церкви. В этом контексте очень важно и прославлять подвиг и духовно-богословский опыт старца Силуана, и избегать его нетрезвой романтизации. Надо понимать, что мы живем уже в другую историческую церковную эпоху. И хотя старая будет жить еще очень долго, но она все более и более маргинализируется. Монастырь в миру, о котором пророчески писали Достоевский, о. Валентин Свенцицкий, архиеп. Иоанн Сан-Францисский (Шаховской) и другие, — это знамение нового времени. Можно по-разному его понимать и называть. Отцы Алексей и Сергей Мечевы вообще предлагали не упоминать в этом контексте слово монастырь, но суть от этого не меняется. Мы не случайно все чаще по-новому видим и ощущаем всю церковную жизнь, все чаще слышим о двух главных церковных таинствах, которые ищут своего полного единства, — о таинстве алтаря и таинстве брата. Это очень ново, и очень традиционно. Тот, кто не слышит и не видит в этом ничего нового, тот не различает времена, сроки и духи (Интересно, что и сам старец Силуан остро чувствовал переходность своего времени и своего опыта: «Мы теперь последние монахи», — говорил он, а слова своего духовного друга о. Стратоника о том, что, «придет время, когда монахи будут спасаться в мирской одежде», старец особо отметил в своих записях (см. «Старец Силуан», М.,-Минск, 1991 г., сс. 411, 426). — Прим.ред). Старец Силуан, как и последние оптинские старцы, или даже еще о. Алексей Мечев — врата в новую духовную эпоху, эпоху, где все, что противоречит принципу Любви и Свободы, обличает себя как не подлинное. Если раньше люди доказывали свое правоверие изрекая Символ веры и догматические формулы Вселенских соборов, то ныне этого недостаточно. Сейчас на первом месте — исполнение закона Любви и Свободы, ибо можно быть православным, но не христианином, не зная Бога, Который есть Любовь, Свобода и Свет, однако нельзя, живя по закону Любви и Свободы, не иметь отношения к Богу. Это нам показал опыт XX века, совершенно новый и совершенно традиционный — и в церковном, и в мирском смысле. Мы не могли бы войти в этот опыт, если бы перед нашими глазами не стояли такие святые его носители, как мать Мария, о. Алексей и Сергей Мечевы, о. Сергей (Савельев) и им подобные дерзновенные мученики и исповедники Христовы в новых условиях, но и также святые начала XX в., такие, как старец Силуан. Это очень хорошо видно изнутри российской церковной жизни, но можно надеяться, что и вне ее происходили и происходят подобные же процессы, которые делают всех христиан все ближе и ближе друг к другу. Новый путь к христианскому единству — это путь Любви и Свободы, путь новой аскетики, путь нового иночества и монастыря в миру — по слову Господа Иисуса Христа: «Отче Святой, не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Спасибо.